

МАРИНА
АЖМЕДОВА



ПЛЯСКИ БЕСОВ

*"Где деси захотят
погулять завтра..."*

От финалиста премии «Русский Букер»

Марина Ахмедова

Пляски бесов

«ACT»

2015

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Ахмедова М. М.

Пляски бесов / М. М. Ахмедова — «ACT», 2015

«Пляски бесов» – мистический роман, рассказывающий о жизни западноукраинского села, обитатели которого верят в существование ведьм и бесов. Ведьма – старая Леська – одиноко живет на окраине села. Стоит ей войти в церковь, как сельчане бегут из нее. Они верят, что Леська может навести порчу, ворует у коров молоко, носит под мышкой вороны яйца и водится с нечистью и бесами. Село ждет не дождется, когда сгинет со свету старая ведьма... Однако главная война идет в человеческой душе. Сам ли человек делает выбор или его судьба предопределена? И нужно ли, как в древние времена, приносить жертву ради благополучия многих или же, напротив, пролитая кровь жертвы повлечет за собой реки крови?

УДК 821.161.1-31

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Ахмедова М. М., 2015
© ACT, 2015

Содержание

Пан или пропал	6
Три сестры	22
Вороны	39
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Марина Ахмедова

Пляски бесов

Любое использование материала данной книги, полностью или частично,
без разрешения правообладателя запрещается.

© Ахмедова М.М., 2015

© ООО «Издательство ACT», 2015

Пан или пропал

Говорят, то случилось с паном Степаном в год, когда Украина получила независимость из рук разваливающихся Советов и развязалась с Советами окончательно. В ту весну, когда паном Степаном овладело такое странное томление, что не сиделось ему больше дома – в темной хате, нижние бревна которой просели и как будто потянули за собой всю ее, заставив наклониться и смотреть окнами в землю. По той причине и было в хате темно, что смотрела она в черноту. Хотя лужок перед хатой и покатая спина холма позади нее были зелены и залиты солнечным светом. В ту пору – конец марта, начало апреля – без туманов и легкого сумрака, зимой сходящего с гор даже днем, – воздух был прозрачен так, что резал глаза, а все же присутствовала в нем какая-то матовость. Пан Степан выходил из хаты и набирал полную грудь этого воздуха, в котором горный хлад мешался с теплом солнечных лучей, а те жаждыми пальцами уже прощупывали землю, насаждая подснежники, и горечь дымка от подожженных вдалеке палых листвьев смягчалась сладким ароматом набухших почек. Подолгу, сколько человек может терпеть, пан Степан не выдыхал это богатство, что только усиливало томительное чувство в груди. Возвращался в хату, оставляя без присмотра покатые горы, встающие за церковью с пряничными куполами. И то странно, что хоть и посветлело все вокруг, пробудилось, а горы насутились и не хотели теплеть, и лесок, тыном встающий на круглой голове одной из них, казался уже составленным не из дерев, а из метел, перевернутых вниз черенками. Вот там-то и чудилась особая муть, словно фата новобрачной была накинута на лесок. Но и то не было секретом, что стоит в лесочке озеро – небольшое, белесое, круглое, с такими ровными краями, что похоже на большую миску, нарочно зарытое в землю, чтобы собрать дождевой воды да туманных испарений и стать озером. Ходить туда не любили и не за чем было – ничего в том озере не водилось, кроме водорослей, прочных, как веревки, и таких длинных, что можно было обернуть их вокруг себя много раз.

Вот туда, через короткое время снова показавшись из хаты, и направился пан Степан, чему-то улыбаясь про себя. Ходил он туда почти каждый день с тех пор, как вернулся из города, где закончил пединститут, а тут, в селе, на работу не спешил устраиваться. И что его влекло шататься по лесу, никому из сельчан было неведомо. Сельчане смеялись – видно, душа у пана Степана размякла в городе до нежности, что отлынивает он от работы, бездельничая в лесу, слушая птиц и ручьи. А между тем вот-вот к пану должен был нагрянуть сельский священник, чтоб пристыдить перед лицом Христа, сына Божьего, за то, что пан все не идет в школу на вакантное место учить сельских детей. Ведь староста к нему уже приходил, разными уговорами уговаривал, но пан пообещал заступить в школу первого сентября – и ни днем раньше.

В этот раз, когда пан шел мимо хаты деда Панаса, тот стал зазывать его к себе.

– Ой, пан Степан, – заговорил дед Панас, навалясь локтями на тын и уставившись на пана голубыми глазами навыкате, – куды ж ты заспешил в такую пору, когда и спешить приличному человеку некуда?

– Да чего там, – махнул рукой пан Степан, устремляясь дальше.

– А ты постой, – позвал его дед, выкатывая еще большие глазища и хитро усмехаясь. – Зайди, хроновухой тебя угощу.

– Да и настроение у меня не такое, чтоб хроновухой угощаться, – ответил пан Степан, остановившись у того места в тыне, где на него была накинута перевернутая крынка с треснувшим дном. – Спешу я – по своим делам, – проговорил он, тем не менее не двигаясь с места.

– Тю-ю, – протянул дед Панас. – Какие такие у тебя дела теперь, пан? Зайди, говорю. А уж я на пороге поднесу, чтобы в хату тебя не тянуть, – широкой рукой дед Панас уже распахивал калитку.

Потоптавшись на месте и сунув руки в карманы штанов, словно и не собирался брать ничего из рук Панаса, пан Степан все же ступил за калитку, и та мягко затворилась за ним. Дед Панас уже спешил в хату, откуда быстро вернулся, словно хреновуха стояла в сенях наготове – в ожидании, когда мимо пойдет пан. На плечо деда Панаса был накинут рушник. Зажав бутыль под мышкой, он снял его с плеча и обтер рюмку, предварительно дохнув в нее сквозь сизые губы. Увидев такое, пан Степан аж передернулся, но протянутую рюмку принял. Дед Панас налил в нее из бутыли, пристально глядя в глаза пану и приговаривая:

– Пей, пан, щоб душу грело, а не жгло, щоб печалью сердце не свербело и щоб тебе наконец дивчина повстречалась, красотой неописуемая.

Сказав последние слова, Панас подмигнул, а пан, отведя взгляд, всем видом смущился от намека – в двадцать шесть лет ходил еще холостой. Он выпростал руку из кармана, схватил протянутую рюмку и, протяжно выдохнув, глотнул.

– Добре, добре, – проговорил дед Панас, почесывая седой висок. – Тока щоб три пожелания исполнились, надо три рюмки глотнуть.

Он уже наливал вторую, посмеиваясь над паном. Пан глотнул и вторую, быстро опрокидывая ее в рот и уже сам тянулся за следующей.

– А то вон у Тараса дочка, Светлана, чем тебе не та самая? – дед Панас наклонился к рюмке, и его слова зажурчали в нее вместе с хреновухой.

Пан выпил еще, провел по губам тыльной стороной ладони.

– Пана Тараса дочка за Богдана просватана, – сказал он и вздохнул глубже, чем вздыхают люди, на сердце которых никакой тяжести не положено.

– Тю-ю, – снова протянул дед Панас, – просватана – не поженена. Ще? – направил он горлышко бутыли прямо в грудь пану Степану.

– Ни, – присел тот и пошел, пошатываясь, к калитке.

– Добре, добре, – приговаривал дед Панас, глядя ему вслед. – Добре, добре.

Дальше пан пошел разомкнутой походкой, и язык его развязался – захотелось ему петь. Он сошел на обочину, чтоб не запачкать сапоги в свежей грязи, которая распространялась на дорогу, оттого что с горки потек весенний ручей. Пошел мимо низкой ограды, сколоченной из тонких бревен с содранной корой. Был даже такой момент, когда затуманенному хмелем глазу пана показалось, что то не бревна, а тонкие гладкие женские руки, зовущие его подняться на горку.

Вокруг тренькали птички голоса, забиваясь пану в уши, и он натянул поглубже кепку, но сразу спустил ее на затылок, разрешая трелям заходить в уши, и сам запел что-то неразборчивое, но, кажется, подпевное птичьим песням. Так, миновав кладбище и старую церковь, что оставались у него по правую руку, и никого не встретив, он дошел до креста, который стоял на обочине, а с того места можно было повернуть то ли на кладбище вправо, а то ли на лесок – влево. Пан остановился ненадолго перед крестом и уставился вниз – на его тумбу, которая сплошь была затянута каким-то чудным выонком, зеленеющим и зимой, и летом. Сквозь частые завитушки выонка проглядывали мельчайшие бордовые розы. Те розы казались не живыми, а выточенными каким-то искусственным ювелиром из матового камня, что заполняет сердцевину гор. Обычно, направляясь в лесок, пан Степан надолго застывал перед тумбой, с содроганием рассматривая розы, ведь как бы ни были они совершенны, все равно от их темной матовости веяло загробьем. Но в этот раз, остановившись, пан сдвинул кепку, почесал затылок, и из горла его вырвалась развязная трель, которую нельзя было не принять за хохоток. Не задерживаясь, пан пошел дальше, достиг окраины села, потоптался на перекрестке, разминая ноги, до которых уже добрался хреновый хмель, повернул направо и вошел в лесок.

Деревья, сначала редкие, а потом растущие по три, по четыре, между собой непроходимо, встретили сыростью. Росли тут и грабы, и сосны, попадались березы. Тонкий слой сочного мха покрывал бока деревьев, и когда лучи ложились неровно, с той стороны, к которой пан был

повернут лицом, могло показаться, что перед ним раздвигаются тяжелые бархатные портьеры карпатского леса. Но между деревьями было светло, и там, где их росло меньше, из-под сухих листьев поднимали склоненные головки подснежники. Их лепестки отливали такой матовой сияющей бледностью, какая только и могла родиться в заключении под землей, без света, а лишь в его предчувствии. Птицы продолжали петь, но тут, в лесу, их голоса приобрели гулкость и таинственность. Они снова и снова перекликались друг с другом, и пану так отчаянно захотелось знать, о чем они галдят, что он даже всплакнул от невозможности понимать птичий язык.

Он пошел туда, куда всегда и ходил, – в глубину, к той кочке, за которой после обильных дождей и таяния снега возникал голосистый ручей. Очень уж любил пан, привалившись спиной к рыхлой, прогретой с утра кочке, слушать прыгающее журчание ручья, перебиваемое колкими голосами птиц. Он мог дослушаться до того, что начинало ему казаться: то не ручей течет за его спиной, а тянется бесконечный рушник, сотканный из первой травы и цветов, который птицы по краям крест-накрест обшили затейливым весенним узором.

Но в этот день после Панасовой хреновухи ноги пана слушались едва и выписывали такие зигзаги и загогулины, что если бы оставляли следы на мягкой земле, то и их сверху можно было принять за какой-нибудь узор.

Наконец, дойдя до знакомой кочки, пан повалился на землю, подпер голову кепкой, чтобы в волосы не попала земляная труха, и полусидя задремал. По всему телу его прошла слабость, которая была пану не противна, а, наоборот, приятна. Томление превратилось в негу. То и дело пан, улыбаясь с закрытыми глазами, потягивал ногами и сладко постанывал в дремоте, пока не захрапел.

Проснулся пан быстро – то ли оттого, что в глубине леса гаркнула черная птица, а то ли от всплеска, какой бывает, когда что-то бултыхнется в воду. Пан прервал храп, вздрогнул, как от холода, который наконец добрался до него из земли, приподнялся и осмотрелся. Лес стоял таким, каким он и оставил его засыпая. Но только не слышалось журчания ручья. Пан потер глаза, присел на корточки, выглянул из-за кочки и негромко ахнул.

Оттуда на пана Степана смотрело озерцо – и неудивительно, что после хреновухи ноги принесли его не туда. А так как славой оно пользовалось нехорошой, то и всю приятную негу с пана как рукой смахнуло. Над озерцом поднимался туман – плотный, словно пар над миской с закипевшей водой. Пан уже хотел подняться, припав на одно колено, но тут со стороны озера – с противоположного его бережка – послышались голоса. Чего-то испугавшись, пан Степан снова осел, нырнул за кочку, снял кепку, прижал ее к груди и затаился. А чего он испугался? То ли шепотка, который хоть и вдалеке был произнесен, а прозвучал у пана под самым ухом, а то ли того, что птицы давно уж замолчали, а пан на это только теперь внимание обратил.

У озера показались две женские фигуры. Одна, прямая старушечья, шла впереди и приговаривала скрипучим шепотом: «Не оглядывайся. Не оглядывайся». Старуху пан, хоть и взглянул на нее мельком из-за кочки, сразу узнал. Не та ли то была старуха, встреча с которой на сельской дороге сулила недобroe, а уж застать ее на перекрестке и того подавно было к несчастью? Не та ли то была старуха, что уж если посмотрит на тебя, а ты с ней взглядом ненароком перекрешишься, то исхудаешь весь, изогнешься, силы жизненные разом потратишь, а новые набирать начнешь, только когда в январе Христос заново народится? И не та ли, что если войдет в церковь, так народ из церкви сразу повалит, а уж если войдет туда в Рождество, быть в селе большой беде? Бабка Леська была чистой ведьмой. А вот ту, что шла позади нее, неся склянку с водой, пан признать не мог – шла она, опустив голову, шаг в шаг ступая за бабкой.

– Три раза кругом обойдем, – проговорила бабка Леська, – а ты смотри не обрачивайся.

Они пошли вокруг озера, а пан тем временем высунул правый глаз из-за кочки. Над ней росло дерево, ветви которого, как надеялся пан, должны были закрыть его от женщин. Только теперь пан разглядел, что это за дерево, под которым он сидит. Старая липа. Ствол ее был

мощный – обхвата не хватит. Посредине раздавался и тянулся вверх такими толстыми стволами, что их можно было принять за два огромных дерева, растущих рядом. И вот в том месте, где липа делилась, ее прорубало дупло – но не в ширину насквозь, а вниз. Края его были обложены влажным мхом, словно в дупле том жила не птица, а какая-нибудь рыба выпрыгивала временами из озера и бултыхалась прямо в него, обдирая о края свои склизкие бока. Только знал ведь пан, что никакая рыба в этом озере не водится. Мертвое оно.

Шаги заскрипели прямо у самого его уха. То бабка и неизвестная женщина, обходя озеро кругом, сейчас шли мимо кочки. Вполголоса бабка произносила слова на неведомом языке, которые то скребли слух и шелестели, а то отодвигались, словно произнесенные через туман. Пан Степан обтер кепкой пот, выступивший на лбу, обнял руками кочку и продолжил следить за происходящим, подумывая еще и о том, что в другой раз, когда он выпьет самогону и язык его поразвяжется, будет что рассказать в хорошей компании. А потому пан решил запомнить все в мельчайших деталях, и когда бабка шла второй раз мимо кочки, он высунулся чуть выше, чтоб хорошенко ее разглядеть.

У бабки на голове был черный платок в мелкую ярко-голубую крапинку. Длинная юбка, обвисшим подолом болтающаяся у ног, черный жакет. Пан даже сумел разглядеть массивный крест на ее впалой груди. Но вот когда пан внимательней посмотрел ей в лицо, руки его почему-то ослабели, и он поскорей отвел взгляд. Бабка была нехороша – той странной нехорошестью, которую не ждешь встретить в человеческом лице. И если бы в другой раз пан выпил в компании и ему захотелось рассказать, что это было за лицо, то слов он, может, и не подобрал бы. В том лице как будто все было на месте, но и что-то лишнее было. А что – трясущийся пан не мог сообразить. Да и вроде если вот так трезвым взглядом посмотреть, то ничего лишнего и не было, а только почему-то все равно нехорошо становилось при взгляде на него. Особенно пугали глаза – большие, голубые, отражающие водный туман. Они торчали из ведьминого лица, словно и не ей принадлежали. А было так, как если бы другой, больший размером, в ее тело влез да из него поглядывал.

Правым глазом пан прихватил и лицо женщины, следившей за ведьмой, и узнал в ней Дарку – дочку Омеляна, мастера, вырезающего к Рождеству из дерева вертепы. А уж такие болванки получаются – с отчетливыми чертами Христа народившегося и матери его Марии, что с заказами к нему едут не только из соседних карпатских сел, но и со всей Львовской области. Дарка эта – как пану не знать, когда об этом шепталось все село, – хвостом бегала за Богданом, а тот еще со школьных лет со Светланы, Тарасовой дочки, глаз не сводил. И теперь до пана начал доходить смысл происходящего, и он даже усмехнулся в усы, и от сердца беспокойство отлегло. И чего это ему пришло в голову такое – пугаться любовных приворотов? Нет-нет, в другой раз в хорошей компании почему бы и не рассказать, как Дарка любви Богдановой добивается – через магию, через ворожбу.

– Сливай, – сварливо сказала бабка, подойдя к самой воде. – Да не оборачивайся! – прокрикнула она.

Скукожившись, Дарка близко подошла к воде, окуная в него полы клешеного платья. Ухватив прозрачную склянку всеми пальцами, она ловко перевернула ее и выплеснула воду в озеро. Однако пан успел разглядеть бултыхавшуюся в склянке деревяшку, и нехорошая мысль о принадлежности этой деревяшки закралась ему в голову.

– Отойди, – бабка отстранила рукой Дарку, и та отступила подальше от бережка. – Стой тихо, – прошептала она.

Тут пан поежился: то ли показалось ему, то ли на самом деле дохнуло в лесу холодком. Солнце отступило в сторону села, откуда пан пришел. Теперь от земли пошел холод, как и положено в лесу на стыке зимы и весны. Пан спиной чувствовал, что лес позади него враждебен весне, не хочет ее принимать и что с зимой ему было лучше, может, потому, что зимой человека сюда не тянет и лес может бесчинствовать тут без человеческого огляду сам по себе. Нехорошо

сделалось пану, липкий пот потек по его спине, особенно когда он услышал слова, которые бабка теперь, стоя к кочке спиной, произносила, нагнувшись к озеру.

– Спаси мене, Боже, яко внидоша воды до души моей! – произносила старая ведьма, и шепот ее, достигая озера, набирал в нем какую-то влажную силу и выпуклость, достаточную, чтоб накинуться на лес и поглотить все его звуки. – Углебох в тимеии глубины, и несть постояния, приидох во глубины морских, и буря потопи мя. Утрудихся зовы, – продолжила она, но тут пану уже начало казаться, что говорит не одна ведьма, а как будто слышится хор голосов вместе с нею – приглушенных, доносящихся из-под воды, но в то же время близких и липких, как тот самый пот, что течет сейчас по спине пана. В словах ведьмы он сразу признал церковный псалом – шестьдесят восьмой, даром с десяток псалмов он знал наизусть, и этот – в их числе.

– Измолче гортань мой! – продолжила та, переходя на шепотливый крик. – Исчезосте очи мои, от еже уповати ми а Бога… ихнего! – вдруг взвизгнула ведьма, заменив последнее слово на чужое – псалму не принадлежащее, а уж пан-то хорошо знал, что в этом месте следовало говорить не «ихнего», а «мого». – Бога чужого! – оглушительно застонала ведьма. – Чуждого! Деревянного! – продолжила она, и тут из ее рта понеслась чертовщина, которой пан и разобрать-то не мог, потому как некоторых слов совсем не признавал, а другие – святотатские и богохульные – даже и в мыслях повторять было погано. Она еще перемежала слова псалма с чужеродными, а некоторые произносила задом наперед, переставляла местами, и даже те, которые пану были хорошо знакомы, в непривычном порядке пугали и морозцем проходили по спине.

– Грехи мои от тебя спрятаны! – режущим визгом продолжала она. – Да постыдятся о мне терпящие тебе, Господи, Господи Сил, ниже да посрамятся о мне ищащие Тебе, Господи, Господи деревянный, сил! – закричала она, наклоняясь к воде и содрогаясь от внезапно проснувшейся в ней силищи. – Сил!

Тут лес огласился клацающими, шипящими звуками, и туман над озером стал гуще. Ни жив ни мертв пан смотрел в него, – и хотел бы не смотреть, да глаза словно бы приковались к белому водяному дыму. И тут уж такая чертовщина пошла, что начал пан различать в этом тумане огоньки, которые скоро обернулись его взору окнами, зажженными в хатах. Стал всматриваться повнимательней да увидел, что хаты эти – знакомые и вместе они составляют село, в котором он живет. Да вот и церковь сверкает пряничными куполами – округлыми, ярусами сидящими один на другом. Сияют купола – сил нет, словно солнце их сверху золотит. Но в том-то и загадка, что не видел пан никакого солнца, окна в домах горели вечерним светом, да и сами дома, а с ними церковь и покатые желто-коричневые горы виделись ему перевернутыми головами вниз. А держались они основаниями за серые сгустки, которые как будто бы были небом, но слепливались из того же тумана. А вон и речка по селу проходила черной волнующейся лентой.

Тут все переменилось, и пан увидел комнату, а в ней – сервант знакомый, белой краской малеванный, килим на стене, кровать под ним. Да это ж пана хата! Посредине стол стоит – длинный. Во главе сам пан сидит в праздничном черном пиджаке с большим белым цветком в кармане. А рядом… «Свадьба, что ли?» – мелькнуло в голове у пана. Вот ведь провалиться ему на этом самом месте, а отчетливо видел он и себя, и сидящую рядом с ним невесту. Только лица ее разобрать не мог. Но отчего же все – и жених с невестой, и гости – перевернутые? Сидят вниз головами – едят, пьют, а над ними, то есть над ногами их, озерный туман расстилается и круглое озеро вместо неба раскидывается.

Пан еле удержался от того, чтоб не вскрикнуть, когда увидел, что на его глазах фата невесты сереет и такой цвет приобретает, словно ее вот-вот только что в стоячую воду опустили. На том свадьба прекратилась, и пан увидел место, в котором сам никогда не был. Оно круглым было – как то самое озерцо. Над всем над ним шпиль торчал – белый, высокий, а

на нем размахивала черными крыльями то ли ангелица, а то ли демоница. Стояла она, держа в руках золотую ветвь, далеко с высоты озирая все пространство. Пан глянул в ее опрокинутое вниз лицо, и показалось ему – знакомые черты в нем различают. Да кто же это – словно память отшибло, не мог припомнить ее пан, но точно знал, что уже виделись они где-то. Крылатая ветвью потрясла, сжимая ее обеими руками, ухмыльнулась, и по лицу ее прошел страшный оскал, обнажающий черные зубы. Тут она еще и черный язык показала. А вокруг нее все горело – здание, например, высокое, все узкими окнами сверху донизу истыканное. Вот из них дым в основном и валил. А людей было – тьма. Бегали они, сутились – и все перевернутыми вверх ногами пану представлялись. Меж ног их огоньки мелькали, усеивали все пространство. Такими же они разноцветными, мутными предстают, когда на сельское кладбище с пригорка смотришь в ночь перед Рождеством – в те самые часы, когда души покойников свои могилы оставляют да пировать идут по домам к живым – употреблять остатки праздничного ужина, специально для них с вечера припасенные. Мельтешат они тогда, как светляки, наживо в одну гирлянду сшитые.

Крылатая выпустила конец ветви из левой руки, и до ушей пана отчетливо донесся ее каменный голос: «И востоку и западу! И рекам и полям! И бесам на потеху, и сестрицам-берегиням!» Она отвела правую руку, и в ней пан увидел круглый клубень свекольный. С визгом запустила его крылатая вниз, и тот покатился, подпрыгивая и кувыркаясь меж огоньков, закричал, расплескивая далеко вокруг себя бордовое. У пана от такого видения сердце схватило – кольнуло, будто насквозь прошитое.

Все снова изменилось, и пан увидал озерное дно, каким оно и должно быть – безо всякого колдовства и чертовщины. Его устилала стоялая грязь, которую дожди смывают с Карпат, дробя по пути. Со дна веревками поднимались водоросли. Пан даже подумал, что то семя дурного водяного цветка проросло из самой озерной середины, и все водоросли, что тянут свои ершистые лапы к берегу, – это все его соцветия, а сердце у него – одно. Потом пан разглядел какие-то тюки, лежащие на дне. Принялся их считать – семь насчитал. Приглядевшись хоршенько, а тюки шевелятся. Еще лучше пан пригляделся и разобрал, что не тюки то, а тела – водорослями по рукам и ногам схваченные. Шевелятся, признаки жизни подают.

– Саваоте! – заголосила ведьма, и видения исчезли.

Был все тот же день и тот же тихий, влажно дышащий лес. Все та же кочка, к которой пан прислонял вспотевшие ладони. И то же озерцо, к которому низко наклонялась бабка Леська.

– Вир! Зорян! Лад! Найден! Орь! Рус! Ус! Царко! – мужским голосом зазвала ведьма, и после каждого имени плотный туман над озером прореживался и в каждом образованном столбе можно было различить очертания зеленого кокона. Они крутились-крутились, распутывались и обнажили голых существ, какие могли бы родиться, повенчайся перед сатанинским лицом утопленница с черным деревом, опаленным грозой. Или чего хуже – родись они от тех страшно согрешивших женщин, что человеческий плод раньше времени выпрашивают из утробы, чтоб жизни ему не дать. Да только не гибнут они – их нежить на руки подхватывает и выкармливает гнилым молоком из своей нечистой груди. А упыри укачиваются в люльках, сплетенных из илистых коряг давно почившего дерева. Худые были они, как скелеты, обтянутые желтой кожей. Ноги – чересчур длинные, длинней тулowiща. Коленки выпуклые, неверно сросшенные, друг к другу припадающие. Стопы – большие, плоские. Руки – длинные, пальцатые. Груди – впалые. Животы – выпуклые. А головы – круглые, лысые, с глазами – огромными, голубыми, отражающими водный туман. Глазницы соприкасаются, похожие на рыбин, которые хвостами схлестнулись.

– Беси, беси... – шептал про себя пан, боясь пошевелиться и чувствуя, как ему со лба на бровь сползает капля липкого пота, затекает в глаз и жжет хреном. «Да что же это за приворот такой любовный, которому столько чести нежить болотная отдает?» – успел подумать про себя

пан Степан, смекая, что дело тут совсем нечисто и событие зарождается более грандиозное, чем любовные Даркины дела.

Он хотел поднять руку, чтобы обложить себя крестом, но бессильная рука до лба не дотянула, только чиркнула полоску по сердцу.

– Царко! Царко! – крикнула ведьма. – Где Царко? – обратилась она к шестерым.

– Он спит! – пробасил один из бесов.

– Зовите его! – приказала ведьма. – Царко! Царко! Царко!

– Пуская спить! – проговорил другой бес.

– Без Царко не справиться. Пуская не спит, а работает! Царко!

Тут бесы потянули за зеленые веревки, и в середине озера забулькало, закрутилось воронкой, вода потемнела, окрашиваясь илом со дна, – видно, там кто-то тяжелый копошился.

– Тяните его! Тяните! – кричала ведьма.

Бесы еще поднапрягли свои кряжистые руки, дернули. Зеленый кокон показался на поверхности озера, да снова под воду ушел. Три раза тянули бесы, навалившись. Но все без толку.

– Господи Сил! – заверещала ведьма, бесы напружили руки еще раз.

Выдох страшной силищи прокатился по лесу, когда они в шестером ухнули, дергая. Ветер прошелся по кронам, сбросив на макушку пана отломившуюся ветку. Одеревенел от страха пан, хотел бежать, да только ноги такой тяжестью налились, словно и не хреновуху он пил, а плавленое олово.

Над водой взвился кокон, закрутился непослушным веретеном, рисуя на поверхности круги, заставляя их волнами заступать на берег. Остановился. Из кокона показался бес – раза в два меньше остальных. С острыми локтями и коленками. С клоком желтых волос на голове.

– Работать не пойду! – тонким голосом сказал он, подпрыгнул, пролетел над головой пана и бултыкнулся в дупло старой липы, стоящей у кочки.

– Достаньте его из дупла! – приказала ведьма.

– Из дупла его не достать! – ответили бесы.

– Подождем – дерево скоро помрет. Недолго ему осталось, – проговорив эти слова, бабка Леська выдернула из рук Дарки, которая стояла ни жива ни мертвa, склянку, зачерпнула воды и плеснула под корни липы. – Ах, Царко, Царко, – укоризненно покачала головой она. – Почему не хочешь работать?

Из липы донеслось утробное гудение, переходящее в свистящий храп.

– Он снова спит, – проговорили бесы хором, наматывая вокруг животов веревки и собираясь погрузиться на дно.

Ну, тут пан не стал дожидаться, чем все закончится, и пополз прочь, екая сердцем об землю. И так дотянул он себя за густые деревья, а там уже встал и побежал шатаясь.

На кочке осталась только панова кепка – свидетельство его там пребывания.

Очнулся пан Степан от тычка в бок. Огляделся. Лежит он на зеленом пригорке, что возвышается у поворота на деревню. Солнце уже начало успокаиваться и было пану в глаза из-за горы, насквозь проходя крышу крайней хаты. Над паном стоял Тарас – директор сельской школы.

– Эх, Степан, – вздохнул он. – Ты все спишишь, а лучше б работал.

– Так меня Панас с пути своротил, – отвечал пан Степан, протерев глаза и решив, что все виденное в лесу ему после хреновухи приснилось. – Говорят: «Зайди да зайди. Я тебя хреновухой собственноручной угощу».

– И ты зашел? – прищурившись, спросил Тарас.

– Поддался... – промямлил пан.

– А зря, – ответствовал Тарас. – Кто ж не знает, что хреновуха у деда Панаса заговоренная.

Услышав эти слова, пан окончательно уверился, что все виденное – страшный, но любопытный сон. Поднялся он, зевнул, глянул на колени – а они от грязи колом стоят. И кепки нигде рядом с собой он не нашел.

Скоро забыл о виденном пан Степан, да и тоска его отпустила – может оттого, что сердце тогда за кочкой так кольнуло, что вся она – тоска – из него разом и выскочила. Да и неправду, что ли, говорят, что плохое человеческая память имеет обыкновение стирать? Хотя найдутся и такие, кто скажет, что, мол, нет, все плохое и помнится, а хорошее забывается, как будто и не было его, а все потому, что хорошее – быстротечно, и когда человек начинает его накликивать, ждать, подзывать, а оно не идет, он и настроение теряет, и тоскует, и забывает о том, что хорошее в жизни его все-таки было. Было. Да сплыло – как скажут некоторые. А если не так, если плохое не лучше хорошего помнится, то отчего же в этих краях поганым словом так часто коммуняк поминают, и все, что Советы тут во время своего лиходейства натворили, отчетливо помнят, в деталях разнообразных, хотя много воды с тех пор с гор карпатских утекло? А нет, помнят. Все равно помнят. А потому, скажете, что много чего плохого содеяно было? Не в том дело. Память человеческая такова.

Что там в душе у пана Степана творилось – только ему и ведомо, но одно доподлинно известно – с того дня, как пан попробовал Панасовой хреновухи, его от леса как ножом отрезало. Отрезать-то отрезало, но, как выясняется, не навсегда. О чем свидетельствует продолжение истории, которая столь быстро не закончилась.

А продолжилась она тем, что как-то на дороге, на самом перекрестке, пан, отправившись куда-то по своей надобности, встретил бабку Леську. И уж так она на него тогда глянула, уж так шилом глаз своих насквозь прошила, что к пану и мысль подошла – ведьма-то помнит и знает, что в тот день он сидел за кочкой и все видел.

Да только и впрямь – видел ли пан? Действительно ли такое было и бесы на этом свете водятся?

О том дальше история рассказывает.

Пришло лето. Раскинулось по горам и лесам звенящей травой. Растолкало всех по хатам – от дневного жара подальше. А уж кто не знает, как жарит украинский полдень летом. Как звенит, собирая на себя, словно на льняную нитку, сельские звуки – мычание скотины, лай собак, бренчание ведер, говорки, приходящие со дворов. Украинский летний полдень, словно домотканое покрывало, набрасывается на село, держась концами за горные верхушки. И оно то спокойно стоит, зной под собой густо собирая, а то полохнет – и все запахи, которые тут ни есть, вмиг обрушаются вниз: то аромат черешни поплынет, а то пряной травы, то подсыхающей навозной лепешки, а то запах самой земли, которая, под жаром изнемогая и растрескавшись, дышит влажно снизу, чтобы саму себя испариной одарить. И линия горизонта – там, где земля с небом сходится, – все трещит, будто весь день притираются они друг к другу – земля и небо. Но когда день к концу заступает и солнце уходит прятаться от него за желто-коричневыми горами, становятся видны результаты их трений – повсюду всполохи красные разбрзганы, как на поле боя. И тут ясность приходит – ни небо земли не сильней, ни земля неба. Такое оно – украинское лето.

И вот как-то раз, когда солнце уже село и катилось по горе, направлялся пан Степан в сельский клуб на танцы. Не то чтобы пан танцором был хорошим. Он больше песни любил – повстанческие, которые отец его часто напевал, а до отца – дед, тот, что в войну и после нее к упивцам в лес сбегал. Там он их рассыпал – какие-то были сложены прямо у костров бездельными ночами и отражали в себе всю ситуацию, в те годы сложившуюся, а какие-то, тут родившись, уехали с выселниками в Сибирь, там обагрились карпатской кровью, обтерлись глубоким снегом, вмерзли в голубой советский лед, который тем не менее жег больно, и сюда вернулись – новыми, да все равно старыми. То точно, точно про деда – знал он дядек банде-

ровских. Не слухи то, а правда. Ведь слухи сельская жизнь быстро об колено переламывает, и получается, что – хрясь, и две половины на выбор предлагает: вот правда, а вот неправда. Поэтому тут и говорить нечего – про пана-Степанова деда. Ну а раз правда, то и неудивительно, что, направляясь в сельский клуб, пан себе под нос напевал, например, такие слова: «А на небі зирка сонечком сияе, а на земли з наших браттив кровь ся проливає!» И такую: «Пресвятая Діва, глянь на нас из неба та дай же нам ту свободу, якої нам треба!»

И все же, несмотря на печаль, заложенную в песнях, настроение у пана было отчего-то приподнятое, и, когда он поднимался на пригорок, все внутри в нем радостно подпрыгивало от волнующего ожидания чего-то неизвестного, а может, и неизведенного. Только один раз на самом пороге клуба его сердце прошил уже знакомый колик – пан, войдя в сени и никого не встретив, все же встретился с отражением самого себя в низком окне. Свет в сенях не горел, да и не надо было – солнце еще светило порядком. За окошком рос молодой клен, прислоняясь широкими нежными листьями к самому стеклу, давно не мытому, покрытому пылью и с той, и с этой стороны. Оттого и создавался отражающий эффект. Пан столкнулся нос к носу с самим собой – пыльным, потертым. Хотя в действительности пан был молодой весь, с высшим образованием, с румянцем на щеках и полоской рыжих усов под носом. Голос имел нежный, за что, как сам считал, нравился девушкам. Только не было среди них такой, которая бы хоть как-то, хоть когда-нибудь подала ему знак, что просватанной за него быть хочет. Вздохнув, пан отправился из сеней в просторное помещение.

Тут уже собралась многая сельская молодежь, и со всеми пан был хорошо знаком – учились в одной школе. Скамейки стояли вдоль стен. В другое время их расставляли рядами посередине и проводили партийные собрания. Стены были выкрашены в бледно-желтый, а окна скрыты присборенными короткими занавесками. Из магнитофона распространялась песня, которую иногда заедало в каких-нибудь местах. В клубе было человек тридцать молодежи – да и откуда взяться больше, когда многие уехали на заработки, кто в Польшу, а кто в Москву. Две пары девушек танцевали друг с дружкой, осторожно держась за руки и разворачиваясь на каблуках так, что всплескивались клешеные подолы вокруг их ног. Была здесь и Дарка, которую пан Степан не видел с того самого дня в лесу. Был Харитон – сельский водитель грузовика, как обычно нетрезвый. Он стоял возле девушек, подпирающих мясистыми плечами стены и, раскачиваясь на некрепких ногах, произносил какие-то душные, невнятные речи.

Войдя, пан первым делом метнул взгляд в угол, где Светлана прислонялась к плечу Богдана. Наклонившись, тот что-то нашептывал ей, а она смеялась негромко. Знал пан за собой грех – уж так при встрече он засматривался на чужую невесту, что казалось, когда Светлана проходила мимо и уже оказывалась за спиной, глаза пана еще продолжали блуждать по ее белому лицу. А и виноват ли пан был в том, что лицом Светлана вышла таким, что тютелька в тютельку оно совпадало с описанием красавиц из старых украинских сказов? Тут и брови черные – птички крылья, глаза – сиянием оболочки заслоняющие цвет (а то правда – пан Степан до сих пор не знал, какого цвета у Светланы глаза), губы – вишневые, волосы – длинные, черные. А главное кости – скул, носа, лба, подбородка – такие, словно их обтачивал самый искусственный мастер из одного поколения в другое и в конце концов доточил до совершенства. Не славилась семья Тараса красавицами, ни про бабок, ни про прабабок Светланиных молва не шла, но вот ведь поднатужился род их и слепил такую украинскую красавицу. Или это случайность была, какая у Омеляна – мастера по резьбе вертепов – иной раз выходит: точит он болванку Пресвятой, выковыривает благостные черты, а – на тебе, роковая красавица получается, и не подходит уже такая деревяшка для того, чтобы посреди яслей сидеть и Христа-младенца на руках держать. Одним слово, куда пану было деваться от такой красоты? И не только ему. Не он один Светлану взглядом мозолил. Но никогда не смел сказать ей что-то большее, чем «добриденъ!».

Пан присел на скамейку и уже стал блуждать взглядом по стенам, выискивая себе пару на потанцевать. Хотя пан был такой застенчивый, что ни разу еще никого на танец не пригласил.

Но танцевал однажды, когда Анна, его до сих пор незамужняя одноклассница, сама пригласила его. Только пан при этом так нервно тряс рукою, в которой держал руку некрасивой Ганны, так неопытно шевелил ногами, что другой танец по доброй пановой воле мог состояться только в его же собственных фантазиях. А раз фантазии никому чужому неведомы и невидимы, раз никто не знает, что в этот самый момент копошится в пановой голове, то почему бы не зайти в фантазиях чуть дальше приличного? Почексывая ус с правой стороны, пан начал представлять, как подходит к нему сама Светлана и приглашает с ней потанцевать.

Тут же заиграла плавная музыка, и Светлана, оторвавшись от Богдана, пошла в сторону пана Степана. «Куда ж это она направляется? – думал про себя пан. – Может, к подружке своей – Дарке?» Пан поскорее отвел от Светланы взгляд. Но вот она стоит перед ним и руку протягивает.

– Потанцуем? – обращается к нему глубоким голосом.

Пан весь затрепетал, сердце у него бешено забилось. Встал, тяжелую руку ее взял и пошел вкругаля по залу, только один раз осмелившись посмотреть в сторону Богдана; тот сидел неподвижно на скамейке, где Светлана его оставила, и смотрел перед собой, словно так и спал – с открытыми глазами. А уж на Светлану поначалу пан вообще не решался взглянуть. Но музыка все играла, танец длился бесконечно, как во сне, пан все выписывал круги, держа в руках твердую, будто каменную спину Светланы, и с каждым кругом чувствовал, как стеснение с него спадает и ноги слушаться начинают, да и язык у пана ни с того ни с сего вдруг развязался.

– А замуж за меня пошла бы, Светланочка? – ласково спросил он.

– Так я просватана, – грудным голосом ответила она.

– А бросить все ради меня сможешь? – спросил вдруг пан, сам не веря своим ушам.

– Смогу, – ответила Светлана.

Пан взглянул в ее горящие глаза. Темные они были, темные. А в самых зрачках два огонька бились. Пан обернулся – за окнами вечер начал синеть. Лампа одна под потолком неярко горела. Откуда же огоньки эти в глазах красавицы? Ведь не у церковных же подсвечников, честное слово, стоит она? Пан еще взгляделся в Светланино лицо, и что-то мелькнуло по нему легкой судорогой, всколыхнувшей знакомое. Где-то недавно виденное. А что – вспомнить пан не мог. Сморгнул видение, да и пронеслись в его голове чужим женским голосом слова о том, что все пыль, уходящая в реки, и что запад и восток всегда будут с той стороны, в какой Господь их поставил, и местами они никогда не поменяются. Что в этом смысле ничего, кроме времени, не течет, не утекает бесконечной рекой. И что раз красавица сама в руки просится, то надо брать. И что чудеса случаются, главное не отмахиваться от них, как от черного хладного крыла, ведь то – счастье, а не несчастье.

Никто, вспоминая тот день, не смог бы дать правдивого ответа – что же произошло между паном Степаном и Светланой или, если вернее, между Светланой и Богданом. Случившееся было таким обстоятельством, которое сколько через колено сельского суда ни переламывай, никогда не разберешь, в каком конце осталась правда, а в каком – неправда. Обстоятельство то можно было только воспринять как факт. Пан Степан теперь был жених, Светлана – невеста. А Богдан… О том и говорить было нечего, хотя он еще, несомненно, вернется в нашу историю.

Предположений строилось много. Они гуляли по селу, заходя в каждый дом. Каких только догадок не выдвигали жители – и что Светлана прямо там, на танцах в клубе, узнала, что Богдан ей изменил с ее лучшей подругой Даркой (да только не похоже это было на спокойного, во всем честного Богдана), и что сама Светлана вдруг ощутила прилив любви к другому (да только, по справедливости сравнивая, никак нельзя было пана Степана Богдану предпочтеть), и что порчу на Светлану навели – якобы пан ей любовный приворот на себя сделал, а от Богдана отворот. Никто никогда не узнает, какое из этих предположений было правдой. Все вместе? Ни одного? Но обстоятельство оставалось обстоятельством – Светлана заказала

портниха свадебное платье с фатой из тюля. А женихом, куда ни крути и как ни перекручивай, теперь был пан Степан.

Свадьба всем запомнилась смутно. Словно на тот июньский день невеста накинула свою прозрачную фату. Рассказывали, что молодые сидели во главе стола – серьезные, невеселые, касаясь друг друга плечами. Стол был богатый. А время небогатое. Время было независимое и свободное. Только как со свободой бывает? Когда ты всю жизнь ее не нюхал, а потом вдруг – на тебе, возьми, вот она – свобода, то и не знаешь, за какой бок ухватить ее, на какую полку поставить, как бы повыгодней использовать и где. Уж кто-то, а украинские куркули выгуду свою из всего извлечь могли, но и они пока не знали, куда новую свободу применить. А были среди сельских и такие, которые хоть и слышали о свободе с самого рождения, а потом о ней сами помногу говорили, но понюхали ее – все равно что понюшку горького табака из рук Советов приняли. Раздражала такая свобода, на чих тянула. И тогда эти же самые заговорили о том, что свобода-то и содержится в несвободе. И даже в пример приводили ту цепь, что в старой кладбищенской церкви хранится: то татары пятьсот лет назад приходили, церковь пожгли, священника зарезали, одних людей погубили, других, цепями обвязав, в плен позабирали. Но ни это село, ни село с правой стороны, ни село с левой не загинули. А цепь, после татар оставшуюся, в церковь снесли и там до сих пор хранили – как память. Так вот и говорили те, кому свобода горечью пришла, что даже если тебя цепями схватили по рукам и ногам, главное их внутри себя, на душе не иметь – и вот вам будет свобода. «Да где вы видели свободу, если ни правым плечом, ни левым повести неможно?» – отвечали им. Но те, кто помоложе был и покрепче, быстро такие разговоры попресекали – чтоб больше не велись они. И то правда, что от разговоров толку мало – свобода пришла, и ее приходилось брать.

А что про стол свадебный, то тут вся родня пана поднатужилась и вывалила на стол все самое-самое, и, глядя на него, плохие времена можно было спутать с хорошими, а свободные – с несвободными. Тут был и борщ с ушками, и котлеты свиные были, и голубцы с картошкой и грибами, томленные в сметане, и вареники – с картошкой и с творогом, грибы – скользкие, из соседнего лесочка, сыр – свой, прямо из-под коровы, сладости, водка и еще много-много всего разного.

На пане был черный пиджак с белым шелковым цветком в кармане и брюки – от другой двойки. А невеста была разодета в новое платье, под которым хорошо просматривалась короткая белая сорочка, вырезающая глубокий треугольник на груди. Платье из тонкой прозрачной мелко-сетчатой ткани, несколько слоев которой наброшены один на другой, чтобы скрыть ноги, которые, без сомнений, были стройными. Верхний слой ткани украшали белые аппликации в виде цветов и бабочек. Запястье обхватывало такое же дешевое кружево рукавов. На груди невесты была приколота большая белая роза. На голове венок из шелковых цветов, с которого на спину струилась фата.

Веселье не шло. Тетки подавали первое, второе. Дядьки разливали по рюмкам, дзинькая о их края горлышками бутылок. Говорили тосты. Тарас в веселой вышиванке поднялся из-за стола, долго вертел в твердых пальцах рюмку с водкой, прищуриваясь на дочь, а потом вместо тоста проговорил странное, к свадебному столу совсем не подходящее:

– Доня, и из болота можно на звезды любоваться.

Все видели, как передернуло пана Степана от этих слов.

«Ну и что, что красива? – подумал он тогда про себя. – Зато красота – быстротечна. Десять лет проживем, и от нее ничего не останется».

Думая о себе, пан тем временем перечислял в уме все свои непреходящие достоинства – и ум, и высшее образование, и две свои коровы, и огород, который он еще с весны собственоручно картофелем засадил. С этого мысли пана перекинулись на редис, на кабачки и тыквы, огурцы и помидоры, которые еще предстояло посадить, а с них на подпол, где зимой все это

будет храниться. Рука Светланы, белая, теперь с узким обручальным кольцом, врезавшимся в безымянный палец, лежала возле тарелки, куда много вареников было навалено. Но невеста не касалась еды. Пан посмотрел на ее руку и тут же, по привычке своей фантазировать, начал представлять эту руку – голой. И сейчас ее крепкие изгибы были хорошо видны сквозь прозрачную ткань, которая словно тлела под разгоряченным взглядом пана Степана. А раз фантазии по-прежнему и как обычно были никому неведомы и невидимы, то от руки пан в мыслях своих поднялся выше и заглянул пониже – за треугольник невестиной сорочки, а потом – туда, где пан еще никогда не бывал. Его рука задрожала и передала мелкую дрожь рюмке, а та задзвинькала о край тарелки. Пан переложил руку, приблизив ее к невестиной, коснувшись боком мизинца – ее мизинца. Светлана дернула рукой, и та упорхнула вниз, ей на колени. У пана потяжелело в груди, он глотнул водки и почувствовал, как та вниз утекает, а вместе с ней – все, что в груди скопилось. Но тут подумалось ему: «Да почему же это фантазии? Вот она сидит живая перед мной – из плоти и крови. Жена теперь. То не фантазии уже, не мечты, а неизбежность, как и предписано свыше роду человеческому – чтобы такое в нем между мужчиной и женщиной испокон веков происходило и никогда не прекращалось». Довольный этими мыслями, пан пригладил левый ус. Но тут встретился взглядом с дедом Панацом, который, тоже приглашенный на свадьбу, сидел с краю стола и, смеясь, наблюдал за ним. На пана нахлынуло нехорошее чувство: как будто вот это все происходящее – и свадьбу свою, и гостей – он видит в отражении пыльного стекла, а как солнце зайдет, то все исчезнет, ничего не будет – ни свадьбы, ни невесты, ни фаты ее, – останется один пан посреди развороченной праздникою хаты. Но это чувство быстро разбрзгалось о следующий свадебный тост, а тот потонул в звоне стекла, в гаме голосов – мужских и женских. А те звенели и басили, окунались в рюмки с водкой, становились протяжными, маслеными – после вареников, сметанными – после голубцов. И уже можно было думать, что сейчас кто-нибудь песню затянет или побьет посуду для приличия, но все оборвалось и смолкло, когда вошел Богдан.

Он сел за стол на лавку, мягко расталкивая уже сидящих, прямо напротив невесты и принял смотреть ей в тарелку. Светлана туда же глаза опустила – на остывшие вареники с затвердевшими краями. Оба так внимательно разглядывали содержимое невестиной тарелки, что и гостям пришлось взглянуть в ту же сторону. Но каждый присутствующий в тот день за свадебным столом скажет – ничего там особенного не было и смотреть так долго на обычные вареники, честное слово, не стоило.

Богдан перевел взгляд на лицо Светланы. Не отрываясь от него, взял со стола вилку да и запустил ее в невестину тарелку. Пан Степан аж вздрогнул от такой наглости, но препятствовать не стал. Богдан положил в рот вареник, прожевал. Снова в тарелку полез. Второй подцепил. Съел.

– Ничего, Светланка, – проговорил он, – все, что ты проглотить не сможешь, я на себя возьму.

Слова Богдана никак не отразились на невестином лице. И глаза ее – темные, погасшие – ничего не отражали, никакого чувства в них не было. Невеста не сморгнула, и из тусклых глаз ее выкатилась слеза, такая же мутная, как тюль за затылком, и пошла медленно по щеке. Ни одна рука не поднялась, чтобы подать ей платок. Только кадык по Богдановой шее сверху вниз судорожно прошелся. Упала слеза в вареник, застряла в ложбинке остывшего теста. Богдан и тот вареник на вилку подцепил, в рот отправил. Проглотил, не пережевывая. И так – пока тарелка невесты не опустела.

– Горько, – хрюплю проговорил он, поднимаясь, но рюмку в руках не держа.

Богдан пошел к выходу, а чувство было (все село потом в разговорах на этом сходилось), что глаза его через затылок все еще смотрели на Светланино лицо.

Пан же Степан к тому времени раздулся как индюк, и усы его встали над губой грубою щеткой. Этой щеткой он и оцарапал лицо Светланы, когда встал, поднял ее за плечи и впился ей в губу.

Что было дальше – бог его разберет. Чертовщина какая-то пошла. Уж и так-то селу после неожиданного появления на свадьбе Богдана, где он съел все вареники из тарелки невесты, было о чем поговорить. Так следом к этому еще событий прибавилось. Но о них все узнали только наутро после свадьбы, когда Тарас в несвежей вышиванке грузно побежал по сельской дороге из своей хаты до зятя хаты – как есть опухший после сна, а из окошка весть полетела – Светланка умерла.

А было вот как. Когда в бутылках оставалось только на дне, недоеденное уже начинало киснуть по мискам и по тарелкам, а в окно настойчиво просился молодой месяц, невеста удалилась во вторую комнату, которую пан называл спальней. Вот там-то и стоял уже знакомый нам белый комод. Килим висел на стене. Кровать, узковатая для двоих, уже была разложена. В комнате сильно пахло землей, и можно было догадаться, что под ней находится подпол – известный на все село. По рассказам, здесь не раз случалось прятаться упивцам.

Светлана, как есть, не раздеваясь, легла на кровать. Из-за стены приходили голоса, которые становились все глуше. Кровать тряхнуло, но почувствовать это могла только Светлана, лежащая на ней. Можно было подумать, что в подполье до сих пор кто-то водится, но то, видно, кто-то из гостей спьяну сильно привалился к стене. Светлана полежала, раскинув руки по подушке. Месяц перебрался ближе к этому окну и смотрел сбоку ей в лицо. В ее левом глазу зажегся серебряный свет. А звезды еще не спешили, нет – они мерцали под самым небесным куполом, словно не решаясь в эту ночь приближаться к Земле. В приоткрытое окно сильно пахнуло землей, обещая завтра с утра дождь.

Светлана оторвала руку от подушки, поднесла ее к сердцу, где был приколот к платью свадебный цветок, проговорила: «Я умираю», – и умерла.

Времени прошло немного. Тело еще не успело остывать. В спальню вошел пан. Встал к месяцу спиной, к покойнице лицом и пожирал ее взглядом всю с ног до макушки, прикрытой фатой. Месяц подарил ее щекам сумеречное неземное мерцание, а может, то просто кровь уже отошла от ее лица. Губы алели, но ведь и то известно, что мясо гниет быстро, а там, где оно не прикрыто кожей, наглядно меняет цвет. Ресницы тенями отражались в ее щеках, как могут отражаться высокие сосны на глади чистой воды. Пан все смотрел и смотрел. В глазах его зажглись желтые масленые огоньки, хотя никаких желтых источников освещения поблизости не было.

– Ну что, Светланка, – ласково проговорил он, – кохана моя. Спиши уже?

Покойница не ответила. Пан, усмехнувшись, скинул пиджак, повесил его на спинку кровати и взгромоздился рядом с невестой.

– Спиши уже? – хрюплю спросил он ее в ухо.

Покойница не пошевелилась.

Пан провел трясущейся рукой по ее груди, по щекам, смахивая с них месяц.

– Замерзла, – придинулся он к ней ближе.

Пан поднял ее руку с поблескивающим кольцом – она была тяжелее прежнего. Пан наклонился к ее лицу, прикоснулся губами к ее губам. Осмелел, задышал тяжело, впился зубами. Отпрянул.

– Светланка? Ты что же? – спросил пан Степан, чувствуя, как его самого сковывает чужой покойницкий холод.

Он схватил невесту за плечи, поднял с трудом – какая же она была тяжелая, словно статуя каменная, – тряхнул. Голова тяжело болтнулась назад – на подушку.

— Светланка, — в ужасе проговорил пан Степан. — Вот ты, значит, как со мной?!

Он сел на кровати, повернувшись к покойнице спиной. Теперь месяц светил прямо на него. Румянец мигом скрылся с панова лица. Он крутил головой, не в силах поверить в случившееся. А голова все тяжелела и падала на грудь. «Да надо бы позвать кого-нибудь...» — подумалось ему. Но разве мог пан подняться на отяжелевшие ноги?

— Что ж мне, Светланка, завтра людям сказать? — спросил он, не поворачиваясь к невесте. — Что так противен тебе я был, что ты поспешила умереть до того, как супружеский долг придется исполнить? Зачем же ты замуж за меня пошла?!

Он сидел до тех пор, пока на губах не выступила горечь — от мертвого поцелуя, схваченного у невесты. Пан сглотнул, и горечь пошла к сердцу, разбудила в нем злость, а та разогрела тело. Кровь закипела, забушевала. Пан повернулся к покойнице, опрокинулся на нее.

В серебряном свете путались его руки, отмикающие крючки на ее платье. Шпильки из-под фаты глухо сыпались на пол, попадая в щели над подпольем. Трещала белая ткань, когда пан срывал ее через невестину голову. По комнате расходилось его влажное нетерпеливое сипение. «А все равно будет по-моему!» — с этими словами он брякнулся на покойницу и погрузился в нее.

Отдышавшись, он отстранился, встал и свысока посмотрел на Светлану. Тонкие пальцы ее путались в длинных волосах. Молочное тело лежало в неудобном положении, словно вот-вот готово было вздрогнуть и перевалиться на бок.

Пан смотрел на покойницу до тех пор, пока не понял, что красота — быстротечна, как река, а стало быть, ее недостаточно для того, чтобы полюбить. Что никогда не любил он Светлану. Что, может, даже ненавидел ее. А поняв это, пан снова навалился на покойницу и поступил с ней так, как уже только что поступил. И только Бог ему в том был свидетель.

К гробу пан старался близко не приближаться. Деревянный, он стоял на том столе, где вчера еще свадебной еды было богато. Оставшееся было тут же доедено гостями — но теперь как поминальная еда. А пану, когда он мимо гроба проходил, все чудился запах оттуда душный, в котором он самого себя узнавал. И такая волна тошноты к горлу его подкатывала, что пан и сам себе противен становился. Часы считал, минуты, когда гроб можно будет на кладбище нести. Да проветрится ли когда-нибудь хата от духа Светланиного? Да захочет ли еще пан к какой-нибудь жинке подходить? Да сможет ли он когда-нибудь в церковь зайти или в зеркало на самого себя посмотреть?

Хотелось пану бежать — бежать из собственного дома. В другой раз он в лесок бы убрался — послушать ласковых птиц и журчанье ручья. Но теперь, казалось, и лес был от него закрыт. И дошло до него тогда — не привиделись ему бесы. Есть они. Лежат на дне озерца, ждут своего часа. Да только... не промахнулся ли в тот раз бес мимо дупла и не оказался ли он в самом пане?

— Не промахнулся. Не промахнулся, — повторял пан, трогая свое опухшее лицо. — Сам видел. Не промахнулся.

Отец Светланы Тарас излил многие слезы в свадебное платье дочери, в которое Светлану одели снова, а когда со слезами весь праздничный алкоголь вытек, кажется, осознал, что единственной дочки лишился, доплелся до дома и там слег без сил. А потому на ночь пан остался с гробом наедине. Только покойница больше не вызывала в нем никаких желаний, кроме одного — бежать от нее подальше.

Чудно, но уже на другой день после смерти Светлана не была такой красивой. Кости, которые вытачивали ее прабабки в своих чреслах, скрылись за опухшими щеками, набрякшим лбом, раздутым носом, почерневшей нижней губой.

«Да боже ж ты мой, божечко, — в страхе думал пан Степан, глядя в окно на синеющий вечер. — Она так выглядит, словно в нечистой воде лежит».

В это время в доме не осталось ни теток, приходивших покойнице обмыть и поплакать о ней в голос, ни дядек, гроб сколотивших, ни соседей соболезнующих, ни праздношатающихся сельчан, которых одинаково привлекают как свадьбы, так и похороны. Остался пан один. Он сидел на стуле, поставив его поближе к выходу, словно оставляя себе возможность бежать. Да и должен ли он был сидеть напротив этой чужой ему женщины? А что за бес дернул его за язык сделать ей предложение? Пан закрыл лицо руками, решив изгнать беса любыми доступными ему способами. Тут и вовремя вспомнилось, что подо Львовом живет поп один – Василий Вороновский, бесов из живых тел изгоняющий.

– К нему бы съездить, – повторял про себя пан. – К нему…

Пан снял руки с лица. Вот и месяц на небе появился – пополнился за день. Месяц посеребрил покойницу платье, заиграл искорками в его блестках. Пан покосился на него, словно боялся, что вместе со своим светом месяц полет в хаты рассказал о том, что прошлой ночью сотворил пан над покойницей по наущению, конечно же, беса, а не по своему собственному желанию. Никогда бы пан такого не желал и не мог желать.

А покойница в гробу раздалась, и если бы не рано утром ее одевали, то уже не смогли бы всунуть ее руки в рукава прозрачного платья. И запах все нарастал. Пана мучило сильней. А тут еще и совсем странное случилось – на глазах у пана на белом платье выступили краснокоричневые разводы. Пан вздрогнул, вскочил, бежать хотел, но в этот момент дверь протяжно заскрипела, и у пана в груди чуть не оборвались все завязки, соединяющие сердце с другими органами. Побелел пан, осел.

Богдан в комнату вошел. Прошел мимо пана – прямиком к гробу. Застыл возле него, и несколько раз звал покойницу оттуда, называя то по имени, то красавицей. А уж последнее, по мысли пана, было словом совсем неуместным – достаточно в гроб заглянуть. Но, может, Богдан своими неподвижными глазами видел что-то другое? А если любовь к покойной так ему глаза застила, что теперь он ее мертвца уродства не замечал, то почему отпустил любимую без боя? Ведь ни разу Богдан не захотел с паном поговорить и разговоров, кажется, избегал. Как бы там ни было, и сейчас Богдан ни словом с паном не обмолвился. Он взял стул, поставил его с другой стороны от двери, и так они всю ночь до утра просидели – молча, при свете полнеющего месяца, до тех пор, пока не запели петухи.

А почему пан такому самовольству не воспротивился? Пан, пан… А что пан? Пан, может, и рад был, что в ту ночь и последующие две Богдан сидел с ним рядом, не оставляя возле покойницы одного.

Как свадьба была богатой на еду, так и похороны вышли богатыми на впечатления. Во-первых, на кладбище среди разнообразных могил – крестов то деревянных, а то железных, украшенных маленькими цветастыми венками, словно шея девушки ожерельем, – мелькнула фигура бабки Леськи. Собравшиеся думали, она мелькнула и ушла, но, когда плакальщицы заголосили, спугнув с дерева большую ворону, старая ведьма присоединила к ним свой голос. Все содрогнулись – и люди, и стаи птиц, спешно с граканьем улетающие с кладбища. Такой это был крик. Да как его описать? Уж сельские его и так и сяк потом раскладывали, разные описания для него подбирали. Кто говорил, что крик был похож на произнесенный из глубокого дупла. А кто – что выкрикнут он был словно на воду, и пошел от нее, усиленный, волнами всех вокруг обдавать. А кто-то говорил, так кричат ведьмы, поднятые на крюк, когда тот им, словно рыбине, все брюхо прошивает. Но каких слов ни подбирай, они все равно блеклыми окажутся перед действительностью. Потому как, может, и нет таких слов ни в одной мове.

Но это только первое похоронное происшествие вам рассказано. А было и второе. Даже не разобрать, которое из них страшней. Получилось так, что в гроб покойницы старались не заглядывать. Как и говорилось, платье ее еще в первую ночь пошло пятнами. А ко дню похорон они обсохли до заскорузлости. Вид у одеяния Светланы был нелицеприятным. А уж пахло так,

ЧТО МНОГИЕ ГОСТИ НОС ОТВОДИЛИ И НАВЕРНЯКА МЕЧТАЛИ С КЛАДБИЩА ПОБЫСТРЕЕ УБРАТЬСЯ, УЖЕ И О ПОМИНАЛЬНОЙ ЕДЕ ПОЗАБЫВ – КОМУ Ж ЗАХОЧЕТСЯ ПИЩУ ПРИНИМАТЬ ПОСЛЕ ТАКОГО ЗРЕЛИЩА?

Так вот. Когда гроб начали спускать, Светлана рот и открыла, а из него вывалился черный язык. Все так и ахнули. Мужчины от гроба отступили, не решаясь ставить его на плечи. И хотя такое с покойниками бывает – то вздохнут они, то пошевелятся в посмертном непроизвольном движении, – а все равно выглядело так, будто покойница всем язык показала. Собравшимся. Бабке Леське. Воронам. Дереву. Пану Степану.

Тарас к дочке подошел, подбородок ей поднял, чтобы язык на место задвинуть. А не слушается дочь – язык наружу лезет. Затряслись плечи у Тараса. Заплакал он. Тогда Богдан крест нательный с груди снял, со шнурка его оборвал, крест в карман сунул, а шнурком голову Светланы под подбородком повязал.

Если б кто в это время за кладбищем наблюдал с двух разных точек, то увидел бы, как загорелись глаза у бабки Леськи, как радостно потерла она сухие ладони.

Вот вам и два происшествия. А разговоры о том, что гроб был очень тяжелый, будто в нем каменное изваяние лежало, – по сравнению с ними мелочь. Да и ту люди могут преувеличивать. Бабка Леська появлялась. Покойница язык показывала. То точно, точно. То – факты. А остальному – хотите верьте, хотите нет.

Светлану похоронили возле железного черного резного креста. Никто в селе уже не помнил, кто под ним покоится. Рассказывали – какой-то иноземный генерал, погибший тут, в Карпатах, в Первую мировую войну. А не надо было на чужую землю с войной приходить.

Прошло время. Над горами задышала осень. Пан Степан затосковал снова – и на этот раз был тоске рад. Хоть какое-то чувство посетило его тело, одеревеневшее со свадьбы и похорон.

За это время село успело обзавестись еще одной неправдоподобной историей, и было трудно разобрать, чего в ней больше – чертовщины или Божьего. История эта произошла с Богданом, и мы еще расскажем ее, учтя все собранные обстоятельства. А пока вернемся к Дарке. Весь июль и август, а также начало сентября она обхаживала Богдана. Но ничего у них не сложилось. А потом и с самой Даркой случилась беда, но и о том речь позже.

Пана же Степана сильно потянуло в лес, но он туда не пошел, а заместо этого поехал в Солонку – к отцу Василию Вороновскому. Что его к тому подвело? Может так статься, что еще одна встреча с дедом Панасом в том сыграла роль.

Пан направлялся в лес. Да передумал. Встал возле тына, окружающего Панасову хату.

– Панас! – позвал громко.

Дед мигом выскочил из хаты, словно ждал появления пана Степана.

– Найдется у тебя хреновуха? – спросил его пан.

– Хреновухи нет, – нелюбезно отозвался Панас. – Времена пошли свободные, тяжкие, – продолжил он. – Добро беречь следует, – тут он подмигнул пану и добавил: – А неужели ты думал, что я за ради тебя, пан, тебе чарки подносил?

– За ради Светланы? – поинтересовался пан.

– Не, – мотнул головой дед Панас. – За ради Богдана.

Три сестры

Не было такого дня тем летом, чтобы дед Панас не выходил во двор и подолгу не простоявал у тына, щурясь на дорогу. А раз выходил он с самого полудня и не возвращался в хату до тех пор, пока солнце не начнет садиться, то мало кто мог пройти по этой дороге так, чтобы остаться незамеченным дедом Панасом. Он словно высматривал кого-то. Но, видно, тот, кого он ждал, на дороге не спешил появляться.

Куст сирени, стоящий одиноко на пологом холме, давно уж зацвел и теперь посыпал тонкий аромат в сторону тына. Разогретый жарким воздухом по пути к носу Панаса, аромат становился душным, заставляя того воротиться в сторону леса. И вот когда Панас обращался к темнеющим сосновым вершинам, глаза его заволакивались белесой пеленой, и то не облака отражались в них, ведь день был чистым, и не дымок то был табачный, хотя за день дед и выкуривал изрядно цигарок – вот и сейчас одна дымилась у него в руке. То было беспокойство – такое сильное, что впору было спутать его со страхом.

– Не запозднился бы, – приговаривал Панас. – Не запозднился б.

Временами он принюхивался, словно хотел своим распухшим носом вытянуть из горячего соцветия запахов тот, что подскажет ему о приближении человека ли, зверя ли, а то ли события, которого он ждал с таким упрямством. Все село видело – ждет Панас, ждет, а спроси кого – не скажет, только поглядит из-под кустистых бровей и не по-хорошему усмехнется. Ну чистый волк. Впрочем, желающих лезть к Панасу с вопросами было немного. Что ни говори, а славой дед пользовался нехорошей. И вроде никаких особых грехов за ним не водилось, но было одно обстоятельство, которое склоняло людское мнение в неблагоприятную для Панаса сторону – непонятным он был для людей. А известно: когда в каком-нибудь селе заведется непонимание, то объяснить его всегда проще в плохую, чем в хорошую сторону.

Едва завидев мужскую фигуру, Панас выпрямлялся и, сощурившись, приковывал взгляд к идущему, а когда тот приближался на расстояние, достаточное для того, чтобы разглядеть лицо, дед без интереса отворачивался и здоровался только сквозь зубы, сжимающие кончик желтой цигарки.

Но вот когда закончился июнь и время пошло на июль, после большого дождя, который начался от великой грозы, заставившей Панаса убраться в хату, расколотой надвое накинутую на тын крынку и разодравшей небо черной дырой так, что вот-вот оно могло проглотить всю деревню и с ней какую-нибудь горку, по вымытой и уже просохшей дороге пошел Богдан.

Под мышкой он держал хозяйственную сумку – в таких носят из магазина хлеб или яйца. Но, правду сказать, в сельский магазин почти никто не захаживал – полки его пустели, освободив простор для многочисленных мух, а люди уже не верили, что в магазине государственная еда появится снова, и кормились как могли – со своих грядок, из-под своих коров.

Панас, понятное дело, уже стоял на посту. Завидев вдали приближающуюся мужскую фигуру, он, по уже сложившемуся обыкновению, выпрямился, весь подаввшись к дороге. А когда Панас разглядел, кто идет, в глазах его снова возникло то самое беспокойство – белое, тяжелое. Бросив на землю цигарку и раздавив ее ногой, Панас приблизился к калитке.

– Далеко собрался? – приветливо спросил он поравнявшегося с хатой Богдана.

– Далеко, – бросил Богдан, не останавливаясь.

Панас толкнул калитку и выскочил со двора, перегораживая Богдану путь. Тот остановился, и некоторое время они с дедом смотрели друг другу в глаза. С того раза, как дед Панас видел его на свадьбе пана Степана (а с тех пор Богдан почти не появлялся на людях), лицо молодого человека осунулось, скулы проступили сильней, а щеки ввалились. Лицо деда расплылось в любезной улыбке.

– А то зашел бы? Хреновухой угощу, – проговорил Панас, хватая Богдана за руку.

– Отстань, дед. Пусти, – Богдан вырвал руку и пошел дальше.

– Тю-тю-тю, – завертелся Панас, обогнал Богдана и снова встал у того на пути. – Зайди, говорю. Дело у меня до тебя есть.

– Нема у меня никаких дел, дед. Говорю ж – пусти, – Богдан двинулся вперед, но Панас не сошел с места.

Усмехнувшись, Богдан обошел Панаса, но тот, словно волчок, снова выскочил перед ним и даже прихватил Богдана за плечи.

– Богдан, та ты не сердися, – шепотом заговорил Панас ему в ухо. – Я ж чого у тебе хотел попросить – помощи. У меня дрова кончились, а спина болит. Вот я и подумал – Богдан дуже добрий хлопец, – говоря это, Панас ощупывал содержимое сумки, которую молодой человек держал под мышкой, а нашупав, стал еще настойчивей, – он поможет мне дерево срубить.

– Зачем тебе, дед, дрова летом? – посторонился Богдан.

– Очень нужны, – не отставал Панас. – Я уже и дерево приглядел. Липу. Растет у озерца. Дуже высокая. Дуже сильная. Такая сильная… – Панас запнулся, придумывая сравнение, – что мою хату на ней подвесь разом с тыном и со мной вдобавок – выдержит, – Панас желтыми от табака пальцами довольно почесал висок, словно оттуда вынимал свои мысли. – А если ее срубить, мне дров на всю зиму хватит, а то и на две. Но сам я стар, с таким деревом мне не справиться. А я тебе за это хреновухи налью, – прибавил Панас.

– Я б помог тебе, дед, попроси ты раньше. А так времени у меня больше нет. И хреновуха твоя мне не нужна.

Сказав это, Богдан двинулся дальше, а Панас на этот раз не стал его останавливать.

Он воротился за тын и оттуда долго смотрел на Богдана, пока тот был виден.

– Только не перепутай, – тихо приговаривал он, обращаясь к Богдану, словно тот мог его слышать. – Липа – возле озерца. Не перепутай. Или великая беда будет.

Постояв еще немного, Панас удалился в хату и ни в тот день, ни в последующие больше у тына не появлялся.

Лес обнял Богдана прохладой, окружил пением птиц, среди которых громче всех звучала одна какая-то – прерывистые, тяжелые трели словно по капле стекали с ее клюва. Но Богдан всего этого не замечал, по сторонам не смотрел и шел именно той тропинкой, которая вела к озерцу. Тут надо сказать, что на тропке этой происходила странность, которую подмечали все, – она вела вниз, а если смотреть на лесок из села, да хотя б с того места, где Панас стоял, то отчетливо видно было, что лесок стоит на круглой голове невысокой горы, а потому, по всем правилам, тропка должна была вверх забираться. Но Богдан словно спускался на дно большой чаши, и чем ниже, тем темнее становилось и холодней.

Надо сказать, что хоть и пришел он к лесу той же сельской дорогой, что ходил пан Степан за два месяца до него, но к озеру приближался в обход. Видно, Богдан не знал леса, как знал его пан Степан. А может, и пана, если вспомнить, что он согласился принять из рук Панасовых хреновуху, ноги принесли к озеру сами – неведомой ему дорогой. А так-то знать – знали все: к озеру ведет узкая тропа, и на каком-то ее отрезке деревья стоят сухие – грабы, березы, сосны. Правда, ближе к озеру снова зеленеть начинают, но если б можно было бросить на озеро взгляд сверху, вокруг него отчетливо бы желтый круг прорисовался.

Объяснение тому у деревенских имелось – в озере водится всякая нечисть, потому сам лес отгородил себя от него защитным кольцом, и, мол, те загинувшие деревья на себя весь удар приняли, но чертовщину дальше не пропустили. Да только тут вопрос появлялся: а почему ж те деревья, что у самого берега растут, высятся и зеленеют, с виду такие сильные да сытые? Уж посытей они будут, чем те, что в других частях леса произрастают. А на липу посмотришь – и тут же мысль закрадывается: неспроста она так разрослась, не по-чистому, не по-честному. Но, как бы там ни было, путь Богдан держал прямо к ней.

Еще добавить хочется – с того места, где находился теперь Богдан, и не подумать было, будто лес себя отгородить от озерца старался. Вот уж нет. Казалось, именно там, в прохладной темноте, он и набирал полную силу – пил из озера, дышал им, одевался его туманами. Припадал к его берегам, словно в почтении. Дивно то было, дивно! Само озеро – на верхушке горы, а как пойдешь к нему через лес – вниз утягивает! И что правда, то правда: силу в этом месте лес набирал особую, и казалось, что нет и не будет его чаще ни конца, ни краю – ни вширь, ни в глубину.

Богдан шел себе, задевая ветви молодых, еще некрепких деревьев по бокам тропы. Их нежные листья шелестели, и казалось, что, с тех пор как Богдан вступил в лес, тот нашептывал ему и напевал что-то, предупреждая – не ходи дальше, стой. Другой бы уже, может, и повернулся обратно, но Богдан двигался вперед – походкой твердой, а выражение лица имел сосредоточенное. Временами Богдан с силой прижимал к себе сумку локтем. И так дошел он до липы.

Обошел ее разок. Осмотрел. Задрал голову к обеим верхушкам. Рукой ствол потрогал. Кора толстая была, шершавая, покрытая огромными наростами, как старуха – бородавками.

– Спасибо деду Панасу, – проговорил он. – Подсказал.

Богдан еще походил вокруг липы, толкая ее рукой. Дерево отзывалось, начиная еле слышно гудеть. Богдан достал из сумки веревку и, обмотав ее вокруг пояса, ухватился за ствол двумя руками, подпрыгнул и полез, подтягиваясь и прижимаясь к стволу коленями. Липа загудела сильней.

Богдан добрался до дупла, расшивающего дерево насеквоздь. Из него пахнуло теплым, послышался влажный свист – кто-то будто ворочался там во сне. Зверь ли, птица ли большая? Богдан добрался до того места, где дерево шло в развилку, и, встав между стволами, ухватился за одну из веток. Ветка хрустнула.

– Не сдюжит, – проговорил он.

Так он передергал несколько веток подряд, и все они трещали и гнулись под рукой. Видно, липу снизу подъедала зараза, а то ли старость уже начала свое печальное дело. Одной ногой Богдан наступил на ветку и почувствовал, как та сопротивляется ему. Из дупла раздалось сопение, перешедшее быстро в ворчание. Но Богдан не слышал его, спеша доделать то, что начал.

Он снял с пояса веревку и закрутил ее узлом на выбранной ветке. Спрятал с липы. Подергал за веревку. И вот тогда-то из дупла высунулся Царко. Заспанные глаза его злобно щурились на дневной свет. На голове беса торчал клок волос, в который он тут же запустил длинные пальцы. Увидев Богдана, Царко зауркал и забурчал.

– Чего придумал? – писклявым голосом спросил. – Чего привязался к липе моей?

Богдан тем временем накидывал петлю себе на шею. Тогда Царко высунулся из дупла по пояс.

– Висельник? – спросил бес самого себя.

Но и так по всему было понятно, что – висельник, не иначе.

– Чтобы на липе моей болтаться? – задал себе следующий вопрос бес. – Царко будить?

А Богдан уже отошел подальше от ствола, натянул веревку. Та была слишком длинной, и даже с петлей на шее Богдан мог стоять на земле, ходить вокруг дерева, отдаляясь от него на пару шагов. Он повернулся лицом в ту сторону, где стояло село, и поклонился, поклоном своим попадая сейчас в невидимые из-за леса и расстояния церковные купола. Веревка натянулась на шею. Богдан повернулся в другую сторону и посмотрел на озерцо. Оно стояло тихое, обычное, и, поскольку тумана в тот день не наблюдалось, можно было хорошо налюбоваться его темной водой. Подняв руку, Богдан прикрыл глаза и перекрестился.

– Господи, – хрипло проговорил он, – то не за ради зла, а за ради любви. Жить больше не могу, – Богдан помолчал. – И не буду, – добавил. – Прости меня. Помилуй. Приими душу мою.

– Как же, – ответил ему сверху Царко. – Больно ты ему нужен. Так и будешь болтаться на липе, рогуль проклятый, отприск бандеровский, никчемность твоя человеческая.

Богдан поджал колени, и веревка натянулась. Богдан повис. Липа задрожала. Царко свесил из дупла голову, наблюдая, как земля и небо перетягивают друг у друга веревку, желая заполучить Богданову душу. Значит, врал Царко? Нужна она кому-то была – душа человеческая?

На губах Богдана показалась белая пена. Голова его дергалась. А ведь стоило ему только разогнуть колени, встать на землю, так прекратилась бы игра, которую на исходе дня затянули земля и небо. Но Богдан все дергался, хрипел, а коленей не распрымлял. Лицо его покраснело, исказилось, из глаз слезы закапали – обильные, как те, что текли из глаз Светланки в день ее свадьбы с паном. Но глаз Богдан не закрывал – упорствую, смотрел на полоску неба, что вставала над зелеными вершинами. Во взгляде его были и просьба, и прощение одновременно.

– Глуп человек, безнадежен, – проговорил Царко и, метнувшись из дупла, перекусил веревку желтыми зубами. – Рогулина – она и есть рогулина, – добавил, глядя сверху на человека, который, шлепнувшись на землю, притих и успокоился лицом.

Богдан открыл глаза и сразу прикрыл их снова, ослепленный сиянием, исходящим от женской фигуры, стоявшей напротив него. То была Светланка, в том же платье, в каком Богдан видел ее и за свадебным столом, и в гробу. Оно источало тонкий сладкий аромат. Лучи закатного солнца проникали сюда к лице сквозь верхушки деревьев, но не касались Светланки, а рассеивались вокруг нее. Лицо ее розовело румянцем, сквозь кожу проступала здоровая кровь, только лоб отливал молочной белизной. Брови почернели, изогнулись, поднялись над глазами, которые из голубых стали темно-синими и имели выражение, которое имеет в своих очах зверь, сердце которого не знает печалей, знакомых сердцу человеческому. Но рот Светланки сиял улыбкой, и с губ ее срывались ласковые слова, обращенные к Богдану.

– Солнышко мое ясное, – шептала она. – Богдан, душа моя. Сердце мое истосковалось по тебе, рассыпалось, а я его снова собрала, но оно не заживает. Так и течет из него кровь, на платье белом моем погаными розами проступает. Глаза мои ослепли, вытекли, на их место вода озерная всталла, холодных навок¹ – слезы. Помоги мне, Богдан.

– Светланка, это ты? – Богдан приподнялся и щурился от невыносимого ее света.

– Я, я, Богдан, – новые слова заструились с ее губ. – Я, коханий. Или ты меня не узнаешь?

– Как я могу тебя не узнать, Светланка, – хрипло проговорил Богдан. – Я к тебе с того света приду, если покличешь.

– Не надо ко мне с того света приходить, – ответила она. – Помоги мне на этом свете.

– Как помочь тебе, кохана? – спросил Богдан.

– Дело у меня к тебе есть. Сделаешь?

– Сделаю. Но сдается мне, что ты мне только кажешься.

– Ах, вот оно что тебе сдается? – воскликнула она. – Не узнаешь ты меня, Богдан! Быстро ж ты меня забыл. Не успели глаза мои вытечь, сердце от тоски искрошиться. Нет, не зажить ему никогда!

И хотя лицо Светланки оставалось спокойным, когда она договорила последние слова, из глаз ее потекли обильные слезы. Стоило им коснуться платья, как на нем, откуда ни возьмись, пораспускались розы сизого цвета.

– Розы! – вскрикнула Светланка, отступая к озеру. – Проклятые розы, грязной водой напитавшиеся, кровь из меня теперь пьют!

Ее нога уже касалась кромки воды, когда Богдан, сорвавшись с места, протянул к ней руки.

¹ Навки – русалки.

– Дай я выдерну эти розы! – закричал он.

– Ха-ха-ха, – горько засмеялась Светланка, а слезы продолжали из ее глаз течь, порождая новые розы на груди и боках. – Они во мне проросли от слез моих! Дернешь одну, и с ней вместе сердце мое выскочит. А зачем тебе сердце мое, если не во мне оно?

– А если от слез они вырастают, то не плачь, Светланка! – продолжая тянуть к ней руки, просил Богдан.

– Как же я могу не плакать, когда ты забыл обо мне!

– Никогда! Никогда мне тебя не забыть! – прокричал Богдан.

А розы между тем росли новые и распускались на груди Светланки, словно та была плодородной землей. Но розы те были странные, и если б довелось кому кроме Богдана и востроглазого Царко взглянуть на них, тут же подтвердил бы тот – никогда земля таковых не производила. И отличие заключалось не в цвете их, хотя он, надо признать, и нес в себе много мертвого, а в том, что соединялись головки между собой зелеными жгутами – гибкими и прочными. А уж те стягивали тело Светланки, опутывая словно веревками. И неудивительно, что слезы, которые она лила, вскоре закровавились. Вместе со Светланкой зарыдал и Богдан.

– Не подходи ко мне. Не подходи, – плакала она. – А если подойдешь, еще сильнее они в меня впиваются, как впивались в лунную ночь в меня поцелуи пановы. Когда сердце мое перестало биться, а душа уходила на небо, поцелуи кровавые вернули меня на землю. Потянули меня к озеру, к воде. Они погаными бутонами распускаются на мне каждый раз, когда я слезы по тебе лью, Богдан. А уж я плачу по тебе, любимый, ведь кровавые розы слаще горьких дум о тебе.

– Скажи, что сделать мне для тебя? Накажи, и я сделаю, – проговорил Богдан.

Лицо Светланки преобразилось, и теперь она видима не жалобный, а властный. Из глаз ее перестали течь кровавые слезы, и она снова сделала несколько шагов от озера в сторону Богдана.

– Сделаешь? – спросила она.

– Сделаю, – подтвердил он.

– Дурак, рогулина тупая, – тихо проговорил Царко, наблюдавший за происходящим сверху.

Серая его узкая морда наполовину высывалась из дупла. Клок спутанных волос, украшавший макушку, делал Царко похожим на большую поганую птицу.

– Есть способ один мне помочь, – сказала Светланка, приближаясь к Богдану, но, не доходя до него, остановилась.

– Какой?

– В эту самую ночь можно увидеть цветок папоротника. Сорви его и принеси мне. Он огнем своим спалит розы, освободит меня от их проклятых пут.

– Покажи, где мне искать его.

– Не я тебе покажу. Царко покажет. Царко! – властно позвала Светланка.

– Не выйду, – глухо отозвался Царко.

Богдан задрал голову к дуплу, увидел Царко и вскрикнул от удивления, попятился. Наступил на конец веревки, которая петлей все еще держала его шею, и чуть не упал.

– Выйдешь! – закричала Светланка. – Или я тебе покажу!

– Чего ты мне покажешь? – отвечал Царко, а между тем в голосе его присутствовали сомнение и страх. – Мне ль, бесу, бояться тебя, нежить?

– Нежить, говоришь?! – взвизгнула Светланка и поднялась над землей.

В быстром полете к липе она разрывала прутья, опутывающие ее руки. На Богдана сверху посыпались лепестки роз, которые осели на его лицо и рубаху кровавыми пятнами. Кровью налились и глаза Светланки. Лес огласился женскими криками и стонами. То кричала Светланка, но казалось, что вместе с ней приказывают, воют и причитают сотни других женских

существ. Их голоса, а кроме них то жалобные, а то сладостные вздохи, доносились из-под воды, с дерев, из земли. Теплым парным своим дыханием они сдвигали с места сосновые стволы, заставляя те скрипеть. Срывали с грабов листья, которые в эту пору крепко все же держались за ветки.

– Высокими зорями освечусь! Ясным месяцем подпояшусь! Всех непослушных сгною! Кровь их выпью! Заговорю волчьими зубами, медвежьими губами! – приговаривала Светланка, а губы ее, чем больше она выпускала из них поганых слов, тем сильнее толстели и чернели. Лицо ее исказилось, а волосы черные рассыпались по плечам. – Руки-ноги вам выкручу! – продолжила она. – Глаза проколю рогом! Язык прибью колом! Уду на шею – куда покличу, туда за мною! Корень – в землю! Земля – в кровь! Кровь – в воду! По доброй воле – нема вам ходу!

Закончив, Светланка вывалила изо рта черный язык и захочотала хохотом страшным и неприличным. Протянула к дуплу руку и крепко схватила бesa за ухо. Так держа его, она отлетела от липы, а Царко поплыл за ней, болтая в воздухе голыми ногами и подывая от боли. По-прежнему хохоча, Светланка разжала руку, и Царко шлепнулся на землю рядом с Богданом. Тот попятился от него.

– Не узнать мне тебя, Светланка, – бормотал он. – Ты ль это? Ты ли эти страшные слова шепчешь?

– Я, коханий, я, – зашептала Светланка, возвращаясь на землю и представая перед Богданом в том же виде, в каком она явилась ему из озера. – Душу мою пан сгубил. Умереть хотела, лишь бы губ его душных не знать, но просчиталась я, он в душу мою кол поганый вогнал, рогом склизким своим до земли меня приковал. А как освобожусь от них, снова стану той, что слова шептала тебе нежные, той, что любила тебя больше самой себя.

– Зачем же ты замуж за него пошла? – пробормотал Богдан.

– Придет время, и ты все узнаешь, – отвечала она.

А Царко в это время, вобрав голову в узкие плечи, тер ухо и продолжал скулить. Богдан же часто моргал и вид имел нерешительный.

– Кидай на него веревочку! – приказала Светланка Богдану. – Иди! И возвращайся с тем, зачем я тебя послала!

Богдан послушно снял веревку со своей шеи и надел ее на шею Царко. Тряхнул ею, понукая беса, словно тот был конем. Царко пошел. Веревка натянулась между ними. На потемневшем небе показался новый месяц, белесым своим слабым светом предупреждая о скором нарождении самого себя. Троица не смотрела на него, не видела и не ведала. Так ведь на то они – покойница, Богдан и бес – пребывали в таком состоянии, когда можно только на убыль пойти, но никак не в нарождение. Да и что живое могло произойти от покойницы, что смотрела сейчас фосфорными глазами вслед удаляющемуся Богдану, который вел перед собой на веревке беса? Или же от беса, из чресел которого истекали лишь серный яд и мшистая гниль? Или от Богдана, который пришел сюда, к лице, чтоб на ней отдать Богу душу? Так отдал ли ее Богдан Богу? А если не Богу, то к кому же попала она – душа Богданова? А может и так статься, что она, как и жизнь, до сих пор оставалась при нем.

Богдан шел и плакал, а Царко то ли от обиды, то ли от злости щелкал зубами. Стемнело. Деревья стали нависать черными глыбами. Месяц молодой украшал небо, словно порез, сделанный в перемычке между тем светом и этим. На небе встали и звезды. Богдан иногда останавливался на узкой тропе, по которой бес вел его в чащу, запрокидывал голову, щурись на звезды. Бес, не желая останавливаться, тянул человека за собой до тех пор, пока веревка не врезалась в его тонкую шею. Тогда бес, ворча, останавливался. Постепенно из его ворчания вылеплялись слова.

– Погань безмозглая, – приговаривал он. – Несуразность человеческая. Лопнуть глазам твоим. Сдохнуть тебе от голода. Подавиться собственными потрохами. Деревенщина немытая. Рогулина поганая.

И чем дальше от озера они отходили, тем сильнее от беса доносился серный запах злобы и обиды, тем громче произносил он ругательства. Богдан сначала не отвечал, только, дивясь, качал головой. А когда бес взял правее и они вышли на совсем узкую тропку, проговорил:

– Що ж я сделал тебе поганого, что кроешь меня словами такими?

– Що ж я сделал, – передразнил его бес. – А то и сделал, что на лице моей повесился.

– Так я плохого тебе не хотел. Я только сам хотел умереть.

– Молчи! – огрызнулся бес. – Не раздражай меня, немыть! – он заткнул пальцами острые уши. – Как ни учи вас, как ни проучай, не понять вам, рогулям, – не всяк, кто уходит из жизни, смерть встречает. Смерть заслужить требуется.

– Странное ты говоришь, – приостановился Богдан, но Царко потянул его дальше. – Если человек помер, то вот и смерть его пришла. И если он не живой, то значит, он – мертвый.

– Тыфу на тебя! – бесина развернулся и взаправду плонул под ноги Богдана. – Не замолчишь, брошу тебя тут! – прикрикнул он на примолкшего человека.

Но если Богдан и прикусил язык, то это не означало, что бес пошел дальше молча. С Богдана он перекинул свой злой язык на Светланку, и уж ту мазал самыми страшными мерзотями, оплетал самыми грязными ругательствами.

– Нежить, рыбина гнилая, – бубнил бес. – Курва розастая. Царко за ухо оттаскала, курва. Обидела Царко.

Тут примолк и он, когда средь дерев послышалось заунывное пение мужских голосов. Зыркнув на Богдана, бес поморщился, будто учゅял что-то мерзкое, и дал тому знак остановиться. Из лесной тиши, не тревожимой даже шуршанием богатой листвы, доносились слова песни, которая самому Богдану была хорошо знакома, и если б возникла такая потребность, то он смог бы подпеть, не пропустив ни единого слова.

Україна – рідна мати,
ми тя будем шанувати.
Хлопці, підемо, боротися будемо —
за Україну, за рівній права.
Наша сотня вже готова,
від'їжджає до Києва.
Хлопці, підемо, боротися будемо...

Но если, по разумению Богдана, песня эта спивалась бравым голосом и в бодром ритме, то певшие тянули ее заунывно и жалобно, словно выли на острый яркий месяц.

Бес повернулся туда, откуда шла песня. Так они с Богданом оказались у крошечной поляны, на которой посередке горел костер, а вокруг него сидели или полулежали мужчины. С правого боку от костра стояла сосна, отчего-то сбросившая все иголки и плятившая многочисленные ветки в разные стороны.

Царко приложил палец к губам, давая Богдану знак помалкивать, а сам присел за кустом. Богдан же прислонился к одному из деревьев, не выдвигаясь из темноты и оставаясь для певших незаметным. Он внимательно вглядывался в их лица, почти каждое из них казалось ему знакомым, но, где он этих людей видел или когда, Богдан признать не мог. Так что люди эти оставались им не узнанными и одновременно ему знакомыми.

– Що, спит Петро? – спросил один, поднимая голову от костра, когда песня умолкла.

У Богдана сдвинулось что-то в груди, когда он взглянул на говорившего. К глазам подступили новые слезы. Но и тут он не смог бы самому себе объяснить, отчего так реагировал

на этого человека. У того были тонкие губы, округлый подбородок, острый и выдающийся нос. Русые волосы, зачесанные назад. А со лба вверх бежали залысины. Но где Богдан мог его видеть? Сельчанин ли тот или кто-то чужой, на кого-то из сельских только похожий?

Чудно Богдану было и то, что песню собравшиеся пели повстанческую. Хоть и была украинцам только что объявлена независимость, а не тянуло Богдана на повстанческие песни – ни тогда, при Советах, ни потом – после освобождения от гнета их. Да, когда самогону выпивал в компании, там, бывало, приходило желание со всеми заодно запеть что-нибудь из тех времен, но первым Богдан никогда не начинал, только подхватывал. А повстанческие песни, как знается, больше всего для грусти, для тоски подходили. Вот и бывало, что Богдан подхватывал какой-нибудь куплет, а тянуть песню до конца неохота было. Песни эти душу ему выматывали, а та на каком-нибудь слове стопорилась и дальше разматываться не шла. И тяжесть в груди после таких песен оставалась. Дед (а он еще живой был тогда) как-то раз, когда песню повстанческую они вдвоем тянули, подмигнул внуку, песню прервал и говорит: «Это, хлопец, на тебя пуд снега упал». Засмеялся еще. А Богдану думай – какой еще пуд? Потом, когда перед Святками в первый год после дедовой смерти на кладбище заглянул, к могиле его подошел, свечку в банке в сугроб ему воткнул и подумал: тяжеленько, наверное, деду лежать под таким пудом снега. А снег в том году, первом без деда, валил в Карпатах так, что дорожки от дома до дома лопатами приходилось прокладывать. Вот и видно было, какие соседи и родичи дружбу друг с другом водили – чьи дома дорожками повязывались. Тут надо сказать, что если от Богданова дома до дома Светланки, то есть школьного директора Тараса, всегда было натоптано, то уж к панову дому никто особенно не ходил. Значит, что наглядно проявляла снежная зима отношение сельчан друг к другу.

Так вот. Когда Богдан накануне Святок стоял у могилы деда, а руки его озябли и занемели, тогда и вошел ему в голову вопрос непрошеный – а чувствует ли дед сейчас тяжесть снега над собою? Вопрос такой Богдан, хоть и не любил он мысли лишние к голове подпускать, поставить перед самим собой полное право имел. А иначе как? Все село, выходит, имеет право верить в то, что накануне Святок покойнички из своих могил вылетают, чтобы отведать ужин, оставленный им живыми родичами? Все село, выходит, имеет право верить в то, что души покойников выметываются из могил своих на огоньке дрожащей свечи и на нем, как на спорной лошадке, до дома родного несутся? Что влетают в окошко, нарочно для них приоткрытое, и съедают приготовленную для них еду без остатка? А Богдан, что ж, права не имел подпустить к себе мысль о том, что дед после смерти сугроб снега над собой чует, если, повторимся, все вокруг верили в разное небывалое посильней, пожалуй, чем в свободу и независимость?

Пошел до дому Богдан и долго мысль эту прокручивал. Слова деда, сказанные им при жизни: «Это, хлопец, на тебя пуд снега упал», так и шли ему в уши, словно дед, не дожидаясь ночи, могилку свою покинул и летел позади Богдана, мысли ему в уши вдувал. Сопоставил тогда у себя в уме Богдан могилку под снегом да песню повстанческую, и дошло до него, что дед сказать хотел – получается, песни эти тоже под пудовым снегом пролежали. Припомнил он и то, как дед ему рассказывал: в войну Советов с немцами, да давненько совсем, из Волосянки двадцать семей в Сибирь были сосланы за одно лишь то, что их хлопцы в сорок первом бежали за границу. А граница вон она – только горы перейди. В Сибири сельчане померли в большом количестве – от голода и холода. А песни, которые они с собой из Карпат увезли, там под сибирским снегом пролежали, кровью умылись, прахом костяным присыпались, и сюда, в Карпаты, снова вернулись. Только душу они стали новому поколению так вытягивать, что лучше б их было не петь. Ведь душа, как известно, с жизнью не наживается, а у многих – и то не секрет – как луна, на убыль идет.

А сейчас вот о чем думал Богдан – в том лесу, где он в этот час пребывал вместе с Царко, в прошлые времена прятались упивцы, а сама Волосянка была насквозь посечена туннелями

– от крыивки к крыивке² выводящими. Некоторые же туннели прямо из сельских хат начало брали. Вот и неудивительно, что в некоторых хатах из подпола густым лесом тянуло, землей сырой, листвами перегнившими. Такой подпол, поговаривали, был и в доме пана Степана – прямо в той самой комнате, где Светланка в брачную ночь померла. Только дед его – панов – Петро, когда через подпол тикал, дернул как будто бы за веревку, которая с пуд земли держала, и засыпал его весь. А как убежал он, сразу его семью большевики пожгли – в наказание. Но такой расправой в те времена никого в Карпатах было не удивить, те ли еще беззакония и жестокости тут творились. А самые страшные истории приходили из Потеличей, и теперь наверняка знать было невозможно – вот так, как рассказывают, они в том селе происходили или были преувеличены людскими страхами, пока шли сюда, в Волосянку, преодолевая леса и горы, в которых в те времена смерть поселилась и дышала в затылок каждому. Истории те, пришедшие из Потеличей, не просто страхом осели в душах жителей Волосянки, они еще погнали молодых хлопцев из села – кто в лес бежал, а кто за границу – через горы, в Польшу, в Австрию, а некоторым даже до Америки добраться удалось.

Обернулся в тот зимний день Богдан – встал лицом к кладбищу. А вечерело уже. С неба спускались темные тучи, тем же спудом ложившиеся на крыши домов. С гор поднимался туман. Встречались они – тучи и туман, оставляя между собой лишь узкую щелку. А еще у самого входа на кладбище пень стоял раскорякой уродливой. Видно, дерево-то спилили оттого, что много лет ему набралось или раньше времени подгнило оно от соков мертвецких, с дождем из могил вытекающих. А пень взял и со смертью своей не смирился – он длинные тонкие ветви из-под самого низа отрастил и протянул их к небу. Уж не правду ли бес сказал – не всяк, кто уходит из жизни, и не всяк, кого из нее насильно уводят, смерть встречает? Ведь взглянешь на этот пень и не разберешь – мертвый он или живой.

Сильно тучи на туман надавили. Впустил он их дожевую тяжесть в себя, просел под ними. А в горных деревнях эта тяжесть заметна лучше всего – скопятся на небе тучи темные, повиснут над крышами, надавят на село, а дождем все не изливаются. А через время глянешь вверх, а их нет, как и не бывало. Но ведь и дождя не было? И в другие стороны тучи не упывали. Гром их на клочки не разносил. Стало быть, чернота там была не природная, а это темь свету показывалась – мол, не забывай, я есть, я тут, у тебя перед носом свои тяжкие дела делаю.

Богдан тогда уже у тумбы стоял, на которой был укреплен крест, показывающий всякому входящему – тут другая территория начинается: не живых, а покойных. Вперился Богдан в розы сизые, словно не рожденные, а искусствой рукой мастера выточенные. Те на выоне произрастали, и зима их не брала. От мороза они только темным наливались. А выон, видать, далеко и глубоко под землю корешки пустил, может и до гробов дотянулся, может и пил оттуда. А других никаких причин стоять посреди зимы сытым и брудно-красным у выона не было.

Затеснило у Богдана в груди. Побежал он вниз с пригорка – к хате скорей. Но тут щель в небе распахнулась и выглянула из нее закатный свет. Осветил собой старую церковь. Горы, и долины, и высокие могилы. Началось время покойников.

– Спит еще, – ответил тот, кто сидел к Богдану спиной, и Богдан подумал: секунда всего прошла с тех пор, как песня смолкла, а он успел столько вспомнить всего. – Он Панаскину хреновуху выпил всю, без остатка. Часа два как спит уже.

– Пусть спит, – проговорил тот, кто задал вопрос. Он, судя по всему, был тут старший. – Не будите его. Бог знает, где он теперь проснется, – добавил он, а сидевший рядом с ними перекрестился. – Подождем еще Панаса.

Тут кустарник с другой стороны от того места, где стоял Богдан, зашуршал, и на полянку вышел совсем молодой еще хлопец. Он оглядел собравшихся и поколотил ладонями по коле-

² Крыивка – специально оборудованное помещение, используемое войсками УПА в качестве укрытия.

ням, словно по дороге сюда приходилось ему ползти, и он теперь выколачивал из штанин пыль. Костерок хорошо подсвечивал его лицо, Богдану оно показалось знакомым. Ведь вот только что как будто видел его, а кто он да где встречались – в толк не бралось. Голубые выпуклые глаза парня блестели под мохнатыми бровями. И щурил он их знакомо. Да что там щурил! Щерился на костер, и все тут.

Вновь прибывший присел рядом со старшим. Обнял руками колени и помалкивал, словно ждал, когда мужички сами его о чем-то спросят.

– Ну что, Панаска, говори, – наконец оборотился к нему старший.

По лицам их ходили языки пламени, а сверху над головами в черном круге, образованном макушками дерев, прорезался месяц – серпом острейшим.

– Сгорели они, – вздохнул Панаска и, схватив с земли ветку, подбросил ее в костер, хотя огню и без того было что обглядывать. Огонь быстрой заплясал на лицах мужиков, выше поднялся, заглянул им в глаза, на миг сделав те оранжевыми.

– Все? – спросил старший.

– Не. Не все, – Панаско положил палку на землю.

– По порядку рассказывай, – приказал старший.

– Та на мову перейди, – зло сказал тот, кто сидел к Богдану спиной.

– Я ж запыхался, – извиняясь, сказал Панаско. Его молодой голос еще ломался и трещал, как ветка, поедаемая сейчас костром.

– На какой мове может, на такой пусть говорит, – проговорил старший. – Ну ж!

– Тогда вот – когда Петро вчера бежал, они к Анне его явились – один в фуражке, такой – взрослый дядька, и двое других москалей – ну те, которые на обозе недели две как заехали. Тот, в фуражке, Анне: «Где Петро?» Анна: «Нема Петра». Снова: «Где Петро?» – «Нема Петра».

– Ты уже вчера об этом рассказывал, – перебил его тот, что раньше просил на мову перейти.

– Твоя правда, – миролюбиво ответил Панаска. – Значит, они как вчера обещали хату спалить, если Петро не явится, так и пришли сегодня к Анне, как по-сказанному. А она на обед бульбы наварила, думала, они ее за бульбу палить не станут. Спрашивают: «Пришел Петро?» А она им то, что вчера говорила, повторяет: «Нема Петра». Тогда ихний старший попросил ее детей кликнуть. И всем троим он прочел как бы это… постановление – что они враги советских всех людей. То в обед сегодня, получается, было. Потом эти трое из хаты вышли. А Анна с детьми осталась. Дальше не знаю, как что – може, думаю, дверь они тогда не заперли. Спустя малость Анна мимо хат побежала. И ребят за собой тянула – а малой-то все время отставал, еще плакал так, что на все село… Может, у нее сбегнуть и вышло б, если б малого тянуть не пришлось. А то я уже своими глазами видел. Они – за ней. Она – к Катькиной хате. Анна на дверь упала, а дверь с той стороны замкнута. Анна кулаками в нее: «Катька, пусти!» А Катька сестру что ль родную не пустит? Наверное, так и подумала – пущу, а там пусть получается что получится… – Панаска потер глаз. – Отперла. Они туды ввалились втроем. Ну так и москали эти подоспели – заложили дверь со своей стороны. Все село уже прибегло. А главный, который в фуражке, давай снова гаркать перед нашими – что от имени Советов он приводит приговор в исполнение, хату Катькину палит. Потом он добавил, что Катька как бы ни при чем и выйти может, потому что Петро – не ей муж, а ее сестре Анне. А из хаты в ответ – тишина, как будто и нет там никого. Полили москали под дверь керосином, соломы туда накидали, еще полили и спичку бросили. В хате все равно тихо. Все молчат, только смотрят. И тут, вот вам крест, – Панаско перекрестился, – как завоет баба какая-то нечеловеческим голосом, ухи у всех чуть не полопались. И стекло в оконце то ли от визга разбилось, то ли его с той стороны. Но что от визга – то больше вероятности. Оборачиваюсь – Леська то. Побигла до хаты, хвать ту палку, что дверь держит. А эти с двух сторон на нее напали. Главный револьвер из штанов достал. А Леська все визжит свиньей, тошно от ее визга, вся душа наружу. А тут дверь как распахнется,

и Анна с малой из дыма вываливаются. За ними – Катька. А где малой? «Мыколка! Мыколка!» – Анна в крик. А он, как потом разузналось, под кровать спрятался. Катька – нырь назад. Леська за ней, ну то есть за Мыколкой. Ну так, Анну и малую они там постреляли – возле хаты. Они, когда я еще к вам тикал, у хаты лежали. А Катька с малым сгорела. Она, видать, его из-под кровати вытянула, а дверь-то снова заложили, ходу назад нет. Потом мужики зашли, говорят, она так с ним на кровати и сидеть до сих пор. Обнимает его как будто, – Панаська перекрестился, – а руки у ней – черные-черные. И малой-то – один уголек. Я сам ходить туда, глазеть не стал, сюда сразу побежал.

– С Леською що? – глухо спросил старший.

– С Леською? – Панаска запнулся. – Леську я видал, когда она в огненную хату впрыгивала. Фу, страшная, как кошка, – Панаско потер левый глаз. – А больше ее никто не видел и обгорелую в хате никто не находил.

Старший поднял руку ко рту и куснул себя за запястье. Над полянкой повисла тишина. До Богдана доходило только щелканье сухих веток и тонкое дыхание Царко.

– А я чего? – робко спросил Панаско, словно был в чем виноват или сам на себя принимал вину за то, что принес дурные вести. – Я вчера прибегал, предупреждал Петро: не явится – Анну с малыми порешат...

Панаско замолчал, когда старший выпустил руку из зубов и цыкнул на него. После этого мужчины еще долго сидели молча – каждый из них как будто наполненный ночью. Но вдруг тишину разодрал треск.

– Петро! – раздались голоса. – Дурной!

Богдана тоже толкнуло в спину любопытство, и он, позабыв обо всем, вышел из темноты. На той лысой сосне болталась веревка, а на той болтался и корчился Петро. Вместе со всеми Богдан побежал к сосне и смешался с мужиками.

– Вернись! – шипел из-за куста Царко. – Вернись на место, рогуль!

Но его шипение терялось в тихом мужицком гомоне, огласившем лес. А Богдан уже кричал вместе со всеми Панаске, успевшему раньше всех вскарабкаться на сосну:

– Режь ее! Перерезай!

– Хватайте его за ноги! Тяните вниз! Кладите на землю.

Петро лежал на земле с передавленным горлом. Мужчины, переводя дух, склонялись над ним. Спрыгнул с сосны Панаско. И он наклонился над Петро.

– Дышит, – проговорил.

А Петро и правда дышал – тяжко, редко и неглубоко.

– Сыпал, наверное, рассказ Панаса, – проговорил один.

– Он же спал, – отозвался другой.

– Значит, проснулся.

– Помолчите трохи, – старший, растолкав других, встал у головы лежащего Петро и подготовился говорить. – Мы лишились родных домов, – начал он негромко, – спрятались в лесу, чтобы защитить родную землю от Советов и от фашистов. За наше правое дело я умру! Ты умрешь! Он умрет! Она умрет! Дети наши умрут! Но кто-то из нас останется. И придут времена, когда кто-то из оставшихся будет жить в независимой, свободной Украине. А время такое придет! Но в этот трудный час мы не имеем права сами себя жизни лишать. Смерть нужно еще заслужить!

Когда он закончил, Петро тяжело застонал. Старший хотел еще что-то добавить, но обернулся и встретился глазами с Богданом. Не успел Богдан и моргнуть, как тот навалился на него, а сверху – другие мужики. В глазах у Богдана сначала помутнело, потом потемнело, и наконец пропало все, одно только чувство в груди оставалось – будто лежит он под тяжелым спудом.

– Звать как? – спросил старший по-русски.

Богдан открыл глаза. В них с бровей затекала холодная вода, выплеснутая ему в лицо. Хотел пошевелить руками, но их крепко связывала веревка – как раз та, на которой вешался Петро. А уж если б Богдан мог оборотиться и рассмотреть эту веревку, то признал бы он в ней и ту, на которой сам того же дня вешался на липе. А будь он внимательней чуть раньше, то увидел бы и то, как Царко, стянув ту веревку с собственной шеи, услужливо вложил ее в руки Петра.

– Богдан, – ответил он.

– Тезка, – недобро усмехнулся старший. – Откуда пришел?

– Из Волосянки. А что вы тут делаете? – отвечал Богдан тоже по-русски.

– Что мы тут делаем? – снова усмехнулся Богдан-старший. – Мы тут, хлопец, тебе вопросы задаем.

– Та чего цыцкаться с ним? – заговорил на мове уже пришедший в чувство Петро. – В петлю его и на ветку!

– Какой шустрый, – отозвался Богдан-старший. – Самого только что из петли вытащили.

– Это шпион, – раздались голоса.

– Изменник.

– Москаль переодетый.

– И одежда у него странная.

– Из Волосянки я! Из села! – затрясшись от страха, крикнул Богдан. – Сын Ивана Вайды. Внук Богдана Вайды. Может, вы про отца моего слыхали? Он десять лет как помер.

Над полянкой во второй раз за ночь повисло молчание. Царко высунул любопытную морду из куста и довольно посмеивался. Месяц наклонился к земле, словно тоже хотел узнать, чем дело закончится.

– Я – Богдан Вайда, – ответил старший. – Сына малолетнего Ивана имею. Но тому еще далеко до того, чтобы внуками меня награждать. Сдается мне, братики, мы сумасшедшего шпиона схватили.

– Шпион он, и все тут! – подхватил один. – Неспроста про семью твою разговоры ведет. Хочет сумасшедшими прикинуться. То точно – шпион.

– То точно, – поддержали голоса. – То точно.

– Ганну они мою не пожалели, – снова заговорил Петро. – И мы никого не пощадим.

С рук Богдана стянули веревку, подняли на ноги и тут же накинули веревку на шею. Повели, толкая в спину, к лысой сосне, на которой только что болтался Петро. Странный то был день, дивный. За него за один двое пытались повеситься в одном и том же лесу. Только каждый раз чья-нибудь спасительная рука вынимала их головы из петли. И не держались те висельники за жизнь свою, отдавали без сожалений то сосне, то липе. Сами петлю себе на шею накидывали. Сами хриплые мучения принимали. Но как дрожал за жизнь человек, когда кто-то другой ему на шею веревку надевал, собираясь отнять жизнь, которая вот только что была ему не нужна. Которую он не ставил ни во что больше. А может и ставил, да обстоятельства так жизнь эту прижали, со всех боков обложили, что веревка на шее и та ему больше свободы оставляла.

Так что, понаблюдав весь день за Богданом, одну интересную мысль из лесных событий можно было извлечь – человек, прижатый обстоятельствами, ни в грош свою жизнь не ставит до тех пор, пока кто-то другой не потянет ее у него забрать. Оно-то с Богданом и произошло – стоило ему почувствовать на шее петлю, как забился он, руками ее хват – и с шеи прочь тянууть. На спину его опрокинули, и он возле сосны той – уже к смерти своей близко-близко, а все равно ногами по воздуху колошматит, отбивается от мужицких рук, которые спешат соединить веревку с помершей сосновой, а ту – со смертью. Тут и другая мысль подоспевает – о том, что лысая сосна свою собственную смерть приняла, да не встретилась с ней пока. Сильная

она стояла, крепко держалась корнем в земле. Только Богдана со смертью именно она должна была соединить. Вот и снова Светланкины слова вспоминались: «Корень – в землю! Земля – в кровь». Да и не была ль сама Светланка все равно что той сосной, ведь это она Богдана к смерти послала и беса в провожатые дала, а уж тот весь путь от озерца до самой полянки нес веревку, на которой Богдану, видать, предписано было испустить дух.

Больше всех старший упорствовал. Румянец, и так игравший на его щеках, теперь разлился по подбородку и по шее – от напряжения, с которым он поднимал брыкавшегося человека с земли и вместе с остальными затягивал веревку на его шею. Чудно то было. Непонятно. Вот он – Богдан. Человек. Две руки, две ноги, голова. И вот он Петро – такой же: две руки, две ноги, голова. А выходит что? Выходит, что одни и те же мужики вот только что вынимали из петли одного, суетились, спасая его жизнь. А не прошло и часа, как они же на том же месте без сожалений решили другого человека жизни лишить. Странные дела на земле делаются, Господи. Странен и сам человек. Сложен. И ведь не разберешь до конца: что же такое она – чужая жизнь человеческая в руках других, близких его, если одни и те же люди за одного человека собственную жизнь положить могут, а у другого, такого же, – ту же жизнь, из того же источника пришедшую, могут отнять и глазом не моргнуть, а потом не сожалеть совсем о содеянном.

А Богдан что? Когда понял он, что пощады ему от лесных не ждать, зашарил глазами поверх голов и встретился взглядом с Панасом. Тот стоял поодаль и, кажется, только и ждал, что Богданов взгляд словить. Подмигнул он ему, прищурился. А пламя костерка вдруг взметнулось и как следует пробежалось по лицу Панаска до самого чуба. Тут озарение на Богдана снизошло. Видел он это лицо. Вот еще только утром, направляясь в лес и неся под мышкой все ту же веревку. Не Панаска ли стоял у тына? Не он ли, щурясь по-волчьи, зазывал Богдана выпить хреновухи? Тот же это был Панас, только тут, в лесу, он сделался моложе раз в пять. Сообразил Богдан кое-что и тут же в надуманное поверил. Упивцы эти мужики. А старший – дед его, Богдан Иванович Вайда. Назвавший сына в честь своего батьки. А тот назвал сына – то есть вот этого Богдана – в честь своего. Родись же сын у Богдана и у Светланки, быть бы и ему Иваном – то обговорено давно.

Тяжесть ушла из плеч Богдана, из рук его и из ног. Мягким он стал, податливым. То ли со смертью смирился, а то ли выход нашел из петли. Тогда и руки, державшие его, ослабели, ведь если жертва твоя не сопротивляется, то и тебе для умерщвления ее много сил не требуется. То не секрет ведь для тех, кому умерщвлять приходилось – то ли зверя, то ли скотину, а то ли человека, – силу убийца истorgiaет из себя не потому, что убить ему сильно охота, а потому, что жертва сопротивляется. А не сопротивлялась бы, то и убивалась бы по большей части без излишней силищи жестокой.

– Хлопці, підемо, боротися будемо! – запел вдруг Богдан сильно и бодро, как эту песню петь и следовало. – За Україну, за ріvnі права! Наша сотня вже готова, від'їдждає до Києва. Хлопці, підемо, боротися будемо! … Давай, дед! – крикнул Богдан. – Натягивай веревку на шею своего внука, лишай его жизни. Не со мною теперь ты пойдешь ранним утром до речки, показать, где рыбина самая большая водится. Не со мной ты яблоню посадишь на краю нашего сада. Не мне ты истории повстанческие расскажешь про то, как Петро к большевикам близко подобрался, и чайник со сладким чаем у них прямо с костра стянул. И про то, как твоего батька на расстрел повели, да пули для него пожалели. Дубинкой забили. А ты его на веревке в ночи до хаты тянул, чтоб обмыть тело его могли. Пусть так и будет. Пускай у тебя другой внук родится. Но уже не я. Давай, дед! Чего ждешь! Делай свою работу – из твоих рук и смерть принять не страшно.

Старший подошел к Богдану. Пристально посмотрел ему в глаза. А что чувствовал в этот миг сам Богдан, стоявший под лысой сосной с веревкой на шее и во второй раз за день смерть готовившийся принять? Любил ли деда, как любил его в тот день, когда гроб его веревкой обвязывал, когда его плечо первым тяжесть дедова гроба приняло, а самому ему еще тогда

подумалось – тяжелую жизнь дед прожил, раз гроб тяжелый такой. Вспоминал ли, как через три года еще раз увидел лицо деда, когда бабка, жена Богдана Вайды-старшего заготовилась к смерти и собрала с собой в могилу узелок? Позвала она тогда внука, узел на белом полотне разомкнула, и оттуда тут же глянули на Богдана глаза молодого еще деда – вот такого, каким он видел его сейчас. Была в том узелке еще одна фотокарточка – Степана Бандеры: в черном пиджаке, в белой рубахе, при галстуке, взгляд его был таким же сосредоточенным, как у деда. Когда смотрят вот так, кажется, что это в тебя человек пристальноглядывается, а через время понимаешь – это он вовнутрь себя каждый раз заглядывает. А веса узелку придавал железный трезубец. Тяжелым трезубец был. Только тяжесть ведь Богдану была предназначена – он его за бабкой на кладбище снес.

Деда своего Богдан любил, а этого молодого, от которого пахло сырой землей, он боялся. Боялся сильно, как боятся зверя лесного.

– Странные ты слова говоришь, – произнес тот. – ОбдуриТЬ меня хочешь? А мы такой беды нюхали, таких пожарищ, что сгорели сердца наши вместе с родичами. Я, он, он и он – давно мертвцы. А ты правду говоришь – тянул я отца своего прибитого на веревочке. Тогда я и помер. А потому и ты жалости от нас не жди. Кровавые мы, лютые. Кончайте его, – приказал он.

И тут из-за куста выступил Царко. Он прошел мимо каждого мужика. Каждому, посмеиваясь, заглянул в лицо. Нагнувшись к земле молодой месяц отразился в каждом рыбьем глазе Царко. Мужики притихли, обомлели.

– Это кто? – струхнув, спросил старший.

– Это бес мой, – ответил Богдан. – Вы его не бойтесь. Он добрый.

– Где ты беса доброго видел?

Царко остановился возле одного мужика и противно засмеялся.

– Ты – не жилец, – тоненьким голосом сказал он, тыча в мужика длинным пальцем. – И ты – не жилец, – ткнул в другого и снова засмеялся, вскидывая голову к небу и ловя глазами месяц.

Да только когда Царко голову-то опустил, то месяц из его глаз не ушел. На небе его не стало, а в глазах беса два ярких острых серпа засияли. Затряслись мужики, отступили.

– Да вы не бойтесь его, – снова принялся успокаивать их Богдан. – Он хороший. Это я его на веревочке к вам привел. Царко его звать.

Царко уже шел к старшему. Остановился напротив того, и теперь уже бес заглядывал ему в глаза. Покраснел старший, дыхание в нем сбилось, веки задергались, на глаза мокрота вышла, да и в зрачках старшего те же серпы отразились, что упали в глаза Царко с неба. Стало быть, из глаз беса они в него вошли. Старший отвернулся. Зажмурился. По щекам его потекли слезы.

– Леську забудь, – проговорил Царко. – Не про тебя она, а ты – про жену свою. Говоришь, мертвяки вы? А смерть-то вы еще не заслужили. Хи-хи.

– А что мы заслужили? – задрожал голос у старшего.

– Жизнь. Внук твой – Богдан Иванович Вайда – жизни не заслуживает, он отказался от нее. И смерти он не заслуживает. Как с ним быть?

– Не тебя, чертяка, это решать, – огрызнулся старший.

– Теперь уже мы тут все решаем, – сипящим голосом, от которого по кронам деревьев прошел ветерок, проговорил бес. – Мы теперь тут все назначения проводим, – продолжил он. – Благословляю тебя на резню, Богдан Вайда-старший. Внука твоего Степана, – оборотился он к Петро, – благословляю на падение. Страшное, черное. Но преисподнюю он потешит. А бесы будут за ним подглядывать – из подпола, откуда ты бежал, бросив Ганну с детьми на смерть.

– Это мой приказ был – не возвращаться, – снова вступил в разговор старший. – Они б все равно погибли. А Петро остался живым и до самой смерти будет бороться за наши идеалы.

– Вот ты и сам подсказал, что делать с внуком твоим, – ответил Царко. – Назначаю его жертвой твоих идеалов.

Бес снова расхохотался. Мужики вздрогнули. По спине каждого пробежал холодок. Бес мотнул головой, выбрасывая из глаз серпы. Две серебряные дуги звякнули друг о друга, взмыли, поплыли по черному небу, срезая те еловые лапы, которые попадались им на пути, поднялись над верхушками, ушли дальше в небо, соединились концами, образовали круг и посмотрели на мужиков одним пустым глазом. Те перекрестились. А наваждение не проходило. О чём говорило оно? Не о том ли, что Бога рядом в ту ночь не было?

– Пора, – позвал Богдана Царко. – Цветок вот-вот явится.

Богдан лежал на животе, чувствуя под собой ростки молодых грабов, прутья выонов и шершавые листья молодого папоротника. Тут, на этом участке леса, куда они с Царко отправились от костерка, было тихо, и Богдан думал – а не привиделся ли ему дед? Была ль полянка? И вправду ли дед хотел умертвить его на сосне? Но признать в случившемся видение мешали два обстоятельства – с неба вниз по-прежнему смотрела пустая луна, образованная из двух соединившихся полумесяцев, и серный запах, который источал Царко, слившись теперь с ночью настолько, что человеческий глаз не мог его взять из темноты.

Странным был свет той луны – яркий по краям, он не освещал ни небо, ни землю. Вокруг было так черно, что, склонив сейчас пальцем у самого глаза Богдана, он бы не увидел. Но постепенно Богдан начал различать очертания кустов, что росли у него под носом. Увидел он и зеленое свечение камней и сразу догадался – то мох. Правду сельские говорили – светится на этой горе мох в темноте, словно кусок дорогого зеленого бархата. Долго лежал вот так Богдан, разглядывая ночной лес, любясь им и не ведая – то глаза его взаправду видят или разгоряченное сегодняшними событиями воображение рисует?

И вдруг из глаза лунного капля истекла. Побежала по небу. У самой земли остановилась, закрутилась, набухла снизу, заострилась, словно корешок пустила и вот-вот готова пролиться в землю, врасти в неё. «Корень – в землю!» – пронеслось в голове у Богдана. Но капля лунная не пролилась, корень в землю не вошел. Рождаться прямо на весу стал из капли цветок – сам по себе, не опираясь ни на небо, ни на землю. Чудный то был цветок, дивный, неописуемой красоты. Составлялся он из четырех широких у основания, но заостренных к концу лепестков лунно-молочного цвета. Цвета такого ни земля, ни небо породить не могли. Не знал он ни света, ни тьмы, ни огня. Что же ведомо ему было тогда?

Тут заметил Богдан, что из сердцевины цветка светящиеся точки выходят, роятся – ярко-синие, ярко-красные, ярко-зеленые и ярко-желтые. Да не в хаотичном порядке они двигались. Далеко от сердцевины не расползались, словно разумом были наделенные и знали, что покидать тот цветок нельзя, а можно только вместе с другими составить купол над сердцевиной. Точки эти на малых насекомых похожи были, но таковыми не являлись – ведь не было у них ни крыльев, ни других частей. Они кружились сами по себе, друг с другом не сталкиваясь и не перебиваясь. Прекрасно было то видение, открывшееся Богдану. Из левого глаза его вытекла слеза и упала в землю. А из земли, откуда ни возьмись, выросла Светланка. Красота ее была ослепительна. Красотой своей она могла бы и с цветком спорить.

– Рви его, Богдан, – нежным голосом проговорила она. – Тяни к нему руку.

– Зачем же такую красоту рвать? – спросил Богдан, не отрывая глаз от цветка, который продолжал жить своей жизнью, совсем не реагируя на то, что чья-то рука может его погубить.

– Спаси меня, Богдан! Избавь от роз, что кровь пьют из сердца! – произнесла эти слова, Светланка снова покрылась мертвыми розами, прекрасное лицо ее исказилось от боли.

– Не могу я, Светланка, красоту такую сгубить, – отвечал Богдан.

– Рви его! Он исчезнет сейчас, и муки мои никогда не прекратятся!

– Не могу. Это – красота.

– Не любишь ты меня, Богдан, – вскрикнула она.
– Люблю, – сказал Богдан, не отрываясь по-прежнему от цветка.
– Почему ж красота тебе любви дороже? – заплакала Светланка.
– Не дал мне Бог ума на такие вопросы знать ответы. Одно знаю – рука моя не может его сорвать.

И только Богдан успел произнести эти слова, как цветок исчез, будто его и не было. А луна на небе стала обычной.

Поднялся Богдан на ноги. Потер затекшую шею, разомкнул руки и потянулся. Солнце уже встало, птицы пели, листва пропускала свет. Огляделся Богдан по сторонам. Вот веревка под ногами валяется. Вот липа. А вот дупло. А вот озерцо, пока еще скрытое утренним туманом.

– Светланка… – тихо позвал Богдан, но ответом ему были лишь звуки едва пробудившегося леса.

Оборотился Богдан к дуплу, но и там было тихо. Липа стояла великая, с мощной корой, избуравленной наростами. Два ствола ее уходили ввысь, распускались наверху тонкими сухими ветками. Снизу зеленые опоясывали ее бока, но и от тех уже веяло прощанием. Взгрустнулось Богдану – ночной сон не шел из его головы, и даже звонкие трели птиц не были этому помехой.

Присел Богдан на траву, с которой еще обсыхала утренняя роса. Залюбовался мелкими головками лесных цветов, хотя прежде всегда к ним был равнодушен. Но в этот миг они раскинулись перед ним, и Богдан скорей не увидел их красоту, а почувствовал. Звон травинок услыхал. Особенности каждого цветка ему прimitились. И поразился он лесному многообразию. Вот неведомый ему раньше цветок – с черной головкой в бусинку. Закрылся весь, лепестки захлопнули, а стоило на него опуститься мошке, как развернулся во всю свою мочь. А вот травинка нежная, пожелавшая стать цветком. Да только не было дано ей яркой краски от природы. Но та природу перемогла, собралась вся и распустилась на кончике венцом – таким же зеленым, как и стебель ее, как и листья, как и вся ее плоть. А и могла ли травинка не возыметь желания стать цветком, лепесткам которого природа дала краски сверх меры, когда стояла она посреди белых головок, по которым нежными разводами разливалось сиреневое? Могла ли не позавидовать их ярко-желтым тычинкам, что смотрели из сердцевин? Могла ли не захотеть стать лучше, стать красивей? Стать как они? Ведь те цветы и были самой красотой.

Над головой Богдана проносились и жужжали насекомые. А птицы пели так, словно с каждой трелью отдавали лесу всю свою душу. Богдан и не заметил, как солнце поднялось, входя в дневную силу, напекло ему правую щеку и спину.

Встал на ноги Богдан, пошел обратной дорогой. А там, где ему оставалось только вправо повернуть и уже по прямой до деревни идти, встретилась ему молодая сосна, грозой побитая. Черная с одной стороны, обгорелая, а с другой – еще зеленая, стойкая. Остановился перед ней Богдан, и на миг показалось ему, будто древесное онемение охватило все его тело, будто ноги в землю вросли. А с правого бока снова запекло, зажарило, заболело, словно стоял он у большого огня. Но ведь в тени он уже находился и на склоне, куда солнце жаром не доставало. Очнувшись, Богдан провел рукой по обгорелому стволу, разрыдался и пошел дальше.

Купола церковные показались – веселые, умытые чистотою полудня. От их разноцветности радость какая-то исходила и расплескивалась по деревне, как вода из ведра. Вздохнул Богдан полной грудью. Засмеялся негромко. И ноги его сами понесли – вниз-вниз, все ближе к селу да ближе. Остановку он сделал только на перекрестке, там, где лесная дорога с деревенской крест-накрест сходится. Один конец деревенской вел, как нам известно уже, на кладбище, а там под холмиком ее перебивал ручей. Странный то был ручей, непростой, но о нем речь пойдет в другом рассказе, не в этом. А пока пойдем вместе с Богданом, ведь он почему-то решил не идти прямо до хаты, а свернуть в сторону кладбища. По той дороге он дошел до креста и, увидев его, тихо ахнул.

Уже не зимние темные розы крест уивали. Каждый прут сбросил старые розы и народил новые – мелкие, светлые, слабые. И уже сейчас было видно, что каждая роза в сердцевине своей отливалась желтым, нечистым. Тут и старый вопрос закрадывался – тот самый, что образовался в голове пана Степана, когда тот подремать у кочки направлялся, и в голове Богдана, когда он к деду на могилу зимой пришел. А вопрос был такой: из ручья ли те розы силы пьют или из другого какого источника? Солнце греет их или, наоборот, опалить старается, задушить поганую их жизнь в самом только начале? Но нет же, нет! Крест нависал над своим выоном тенью и защищал от губительного воздействия света.

Помрачнел Богдан снова, затяжелело у него в груди. Но быстро сменялись настроения его, ведь когда Богдан пошел вниз и остановился возле яблони, растущей в чьем-то саду, лицо его снова разгладилось, и может так быть, что до хаты он дошел посвистывая, если, конечно, за свист мы не приняли трели маленькой глиняной свистульки, что доносились из открытого окна какой-то хаты. Да и подробность эта не важная, для смысла рассказанного в этой истории значенья не имеющая. Кто свистел – Богдан или глиняная свистулька в детской руке? Не важно то, не важно совсем. Важно лишь то, что настроение в Волосянке в тот час, когда Богдан вернулся из леса, было приподнятым и прозрачным. День обещал хорошее, но ничего хорошего так и не случилось. Только ведь и когда плохое не случается – уже хорошо.

С того дня Богдан изменился. Теперь он мог подолгу слушать пение птиц, врастать в землю возле деревьев. Да что там! Он кивал деревенским коровам, когда те, размахивая хвостами, шли мимо! А с лошадьми вступал чуть ли не в разговор! Странно то было. Дивно. Ну и наконец пришел тот день, когда Богдан набросился на соседа, колотившего яблоню. Вот тогда-то вся Волосянка и сошлась во мнении – Богдан Вайда умом тронулся. Ведь не мог же, честное слово, человек, находящийся в своем уме, сказать соседу такие слова:

– Що ж ты делаешь? Зачем дерево обижашь? Зачем руки ему выламываешь? Подойди до него тихоньки и яблок попроси. Оно само тебе их отдаст.

Мало кто знал, что сумасшествие Богдана следует вести не от яблони, а от леса. Но обстоятельство остается обстоятельством – село признало в Богдане блаженного и больше никак иначе на него посмотреть не могло. Село забыло о нем. Видело, но не замечало. Слышало, но не слушало.

Однако известно: все изменится через двадцать три года, и о Богдане заговорят по-новому. А пока все надолго оставили его в покое. Одна только Дарка еще вилась вокруг него, любовью своею окручивала. Но, как было сказано выше, с ней вскоре приключилась беда. А Богдан так на всю жизнь и остался холостым.

Вороны

Неприятное чувство рождалось, когда диакон шел от царских врат, разметая полы длинного своего одеяния, и делил таким образом церковное пространство на две половины. Он нес с собою то ли низенький табурет, то ли столик. Его-то и поставил он напротив выхода, так громко цокнув ножками об деревянный пол, что по всей церкви разнесся глухой стук. И, может, не одно сердце екнуло от того. Да только разве ж разглядеть движение сердец под одеждами и личинами? Узнать ли, от чего они екают – от душевного трепета благостного или от страха?

С разных мест съехались сюда люди в тот день – были свои, сельские, из Солонки, были из других сел, а были и такие, кто приехал из самого Львова. Но в том и сложности не было никакой – Пустомытовский район, в котором расположилось село Солонка, находится неподалеку от города, с южной окраины. В общем, люда сюда по воскресеньям – а именно в этот день недели тут творилась особая молитва – стекалось разного и помногу. Но не так много, чтоб совсем не протолкнуться.

Приглядевшись, увидели бы вы, что церковь строением своим напоминает коровник – низкая, одноэтажная, не то чтобы узкая, но и не широкая вовсе. Вместительности она была немалой, но все равно в тот день в ней еще много простора оставалось – молящиеся жались к бокам, толпясь вдоль скамеек и не подступая к тому месту, где только что прошел диакон. Получалось, несмотря на множество народа, проход оставался свободным, словно специально для кого-то оставленным.

Пять узких подпотолочных окон с одной стороны смотрели на пять таких же с другой. Занавешены они были тюлем – белоснежным с тонкими острыми узорами. С той стороны в помещение пробивалось солнце – слепящее, утреннее. Оно миновало белую гипсовую голову Пресвятой Девы Марии, державшей на ладони сына своего Христа, а тот сидел в такой неудобной позе, в какой можно просидеть лишь миг, но никак не вечность. И косо падало на пол, оставляя два геометрических пятна на полу, как раз там, где пустовал проход. Больше ничего в церкви оно не касалось.

Слышался гомон, складывающийся из разговоров прихожан. Но велись эти разговоры так тихо и коротко, чтоб их можно было в любой момент оборвать и отдать долг церковной службе. Только одна женщина с крупной бородавкой на губе и перекошенным на одну сторону лицом время от времени похочатывала, тыча белым пальцем в кого-нибудь из собравшихся.

– В тебе бес! – взвизгивала она тонким, почти детским голосом.

Увидев, как человек вздрагивает и ежится, словно желая сделаться незаметным, под тычком ее жирного пальца, она разражалась новым потоком хохота, а потом уже сидела тихо, высматривая в толпе новую жертву. Только тряслась разбухшим телом под серым бесформенным плащом, булькала и поджимала правый уголок рта, стараясь вернуть скошенную половину лица на место. А как только новая жертва находилась, изо рта толстухи тут же вырывался новый хохоток, и уголок рта, разлепившись, снова тянул за собой щеку и глаз.

Из алтаря показался поп. Приволакивая правую ногу, он дошел до подставки для Библии. Собравшиеся притихли. Откуда-то из толпы вынырнули пятеро широкоплечих молодчиков и встали вокруг попа, почтительно задерживаясь в двух метрах от него. Поп гаркнул, прочищая горло. В церкви воцарилась мертвенная тишина, нарушенная только скрипом половиц. Поп запел. Только трудно было назвать его песнопения молитвой – он бурчал и бубнил, поедая начала и концы слов. Могло даже показаться, что поет он на каком-то неведомом языке, да и не к человеку в общем-то обращается. Бритый его затылок, посаженный на короткую шею, поворачивался то к одному углу церкви, то к другому, словно затылком поп и видел, и высматривал кого-то.

Мимо окон с той стороны пронеслись птицы, мелькнув темными тенями на полу. Их крики прорвались сквозь тюль, сделав узоры на нем тощее и острее. Поп забубнил неразборчивей. Можно было подумать, он так и уснул над Библией, а молитвы свои бормочет во сне. Голос его становился все глупе и чуть было совсем не притих, но тут с хоров его подхватила молитва – «Господи, помилуй», – и когда хористы смолкли, в голосе попа уже звучала новая сила.

Много народу прошло через его золотую чашу, которая, появившись в руках попа, когда молитва была окончена, блеснула толстыми золотыми боками. Он водружал ее на головы прихожан, тянувшихся к нему длинной очередью. Подходили все, и почти не было таких, кто желал бы от золотой чаши укрыться. Сняв ее с какой-нибудь головы, поп внимательно всматривался в ее дно, сощурив правый глаз, что-то бубнил и быстро человека отпускал – без исповеди, без прощения и без покаяния. Каждый, покидая церковь, шел мимо скамеек с левой стороны, аккуратно обходя проход, положенный в самом начале. Так для кого ж диакон его освобождал? Вон и церковь уже почти опустела, а так и не было того, кто бы проходом воспользовался.

Впрочем, некоторые к попу не спешили, тихо сидели по скамейкам, опустив головы. И вся надежда, с любопытством связанная, только на них и возлагалась. Видать, ждали, пока толпа разойдется, ведь если знали они о себе такое, чего чужому глазу показывать не пристало, то и не хотели, чтоб оно обозначилось перед большим количеством народа. Кто знал, что хромой поп мог углядеть на дне чаши? И тут нельзя было определенно сказать – в чем причина того страха. От веры ль безоговорочной в то, что чаша способна чудодейственно проявлять на своих мутных боках в чужой душе спрятанное? Или от веры в прозорливость попа, способного увидеть в чаше сокрытое? Или что-то иное то было? А не то ль, что сам человек все о себе лучше других знает? И если есть ему что прятать, то для других оно обязательно явным станет – да не сам грех или тайна, а только попытка их сокрытия. От нее-то веревочка и потянемся.

И вот, когда церковь опустела и оставшиеся, озираясь друг на друга, робко потянулись к отцу Василию Вороновскому, а это именно он и был, тут и началось такое, чего лучше никому, находящемуся в здравом уме и в чистоте душевной, не видать. А если уж смотреть большая охота приспичила, то сейчас самое время было оглядеться по сторонам и заметить, что на одной из лавок сидит Дарка и держит за руку девочку лет пяти – Стасю, сестру свою младшую, рожденную от отца, когда тот, овдовев, женился во второй раз, но и вторая его супруга умерла в первых родах. Была тут и еще одна знакомая нам фигура, она таилась с таким усердием, что и мы до поры до времени не будем ее замечать. Все равно ведь, раз пришла, значит, себя проявит.

На Дарку и смотрел сейчас отец Василий, сам выбрав ее из оставшихся. Ее-то он и поманил к себе властной рукой. Дарка встала и пошла. Бухнулась перед попом на колени, заплакала, сотрясаясь худосочным телом. Услышь ее кто, решил бы – обиды ее великие, несправедливости, сформированные над ней, тяжкие. Любое сердце могли бы разжалобить ее слезы, стекавшие на соровую руку отца Василия, к которой Дарка прижалась щекой. Но лицо попа становилось все злее, а левый глаз его прищуривался до тех пор, пока совсем не закрылся. Усмехнулся отец Василий, и усмешка его была нехорошей.

Протянул ко рту Дарки чашу, та дунула в нее, и тогда поп водрузил чашу ей на голову. А пятеро молодчиков тем временем подступили к ним совсем близко, и если бы Дарка теперь захотела бежать хоть вправо, хоть влево, а хоть и по пустующему проходу, шансов на то у нее не оставалось никаких – со всех сторон ее ждали крепкие мужские руки. А уж лица у этих мужчин были такие, с какими впору, взяв в руки вилы, идти на самого черта.

Разлепив глаз, отец Василий глянул в чашу. Лицо его помрачнело. Любопытно знать, что же такого он увидел на ее выгнутых стенках, затуманенных женским дыханием. Не принесла ли Дарка с собой тот туман, каким дышала у озерца, колдуя там с бабкой Леськой? Впрочем, давно это было – больше года с тех пор прошло. Любой туман, даже такой плотный, как тот, что копился над озерцом, уже успел бы из груди выветриться.

Но нет, судя по тому, как широко раскрылись глаза отца Василия, и по тому, каким каменным сделалось его лицо, и какой затем оно исказилось злобой, увидел он там что-то иное – такое, что пострашней озерца со всеми его обитателями будет. Отстранился отец Василий от Дарки, вытаращился на икону на бежевой стене, которая изображала последнюю остановку Христа на пути к месту казни. И застыл вот так. Любой из знавших его или просто регулярно посещающих церковь в Солонке сказал бы, что таким отца Василия не видели еще ни разу в жизни.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочтите эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.